



Евгений
Толмачёв

ОТПУСК НА ГРАНИ

Евгений Григорьевич Толмачёв

Отпуск на грани

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74575736

Отпуск на грани: Алетея; СПб; 2026

ISBN 978-5-00267-147-2

Аннотация

Это вторая книга прозаика Евгения Толмачёва. В сборник вошли рассказы, написанные в период с 2021 по 2026 год. В каждом произведении автор словно бы ищет ответ на вопрос – что есть правда? Добро, побеждающее зло, – правда. Гибель человека в щупальцах губительной страсти – это тоже, пусть и ужасная, но правда...

Рассказы Евгения Толмачёва разнообразны по тематике. Здесь и тема взаимоотношений между людьми, тема борьбы со страстями. Богатый журналистский опыт автора воплотился в произведения, в которых поднимаются острые социальные вопросы. Истории о поиске своего призвания и любви, о проблемах молодёжи и крушении иллюзий будут интересны читателям разных возрастов.

Содержание

Возвращение коня Лютика	5
Морской волк	13
Общага	26
Бриллианты для Саныча	50
Разные судьбы	57
Отпуск на грани	70
Витюша	78
Где наше лето?	88
Убоп Иваныч	103
А я – мужик!	117
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Евгений Толмачёв

Отпуск на грани

© Е. Г. Толмачёв, 2026

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2026

* * *

Моим родителям посвящаю

Возвращение коня Лютика

Лет, может, сорок назад в селе Ромашкино жил такой Гаврила Васильевич – колхозный ветеринар. И как-то раз из города приехала на служебной машине с шофёром корреспондентка газеты. Дождливая осень расквасила грунтовку, машина села на брюхо и беспомощно вращала колесами, увязая глубже. Молодая, энергичная корреспондентка, чем-то похожая на деятельных героинь советских кинолент, решила идти пешком. Она пробиралась сквозь осеннее марево, вдыхая густой воздух и втихомолку ругая советскую власть за бездорожье. Под ногами жадно чавкала грязь. Ругать советскую власть она могла только за глаза... Сейчас на склоне лет женщина с упоением вспоминает то время. Помнит, как до конторы довёз её на подводе разговорчивый, весёлый мужик в заношенном пальто. Память хранила, что спина возницы и круп коня были одной гнедой масти. И то, с каким теплом мужик относился к животному – ни словом матерным не понукал, ни даже кнутом не замахнулся – убедило корреспондентку в том, что и крестьянин может оказаться интеллигентным... А ещё у коня было какое-то цветочное имя. Как у человека может быть лошадиная фамилия, так и у коня может быть цветочное имя. То ли Георгин, то ли Нарцисс...

...В общем, до конторы доехали. В тёплом кабинете, где

пахло жареными семечками, взволнованный председатель Анатолий Егорович Хобот с тихой гордостью, нараспев рассказывал о перевыполненном плане и добросовестных колхозниках:

– Как говорится, трудится у нас работающая доярка Наталья Дубинкина-а, а есть очень хороший, непьющий механик-атор Николай Фёдорович Поку-у-утний, ветврач Гаврила Васильевич Бу-у-гашев. Он, как говорится, вас к нам и довёз.

О ветеринаре корреспондентка вознамерилась написать небольшой очерк, но он засмутился. Только с конём его и сфотографировала.

...Этот самый Гаврила Васильевич был человеком доброго нрава. Хотя и ветеринар, а свиней и прочую живность резать отказывался. За это крепко посмеивались над ним. И конь, которого звали Лютиком, любил Гаврилу Васильевича. Как человек на селе нужный (скотину-то лечил), он любил выпить и не испытывал в том недостатка. Говорят, что животные не переносят пьяных. Например, колхозный бык Герасим гонялся за каждым, от кого разило самогоном, и даже одного пастуха покалечил. Как производитель Герасим был очень хорош, и руководство колхоза спустило ему это преступление. Скотина – что с неё взять... Но Лютик – это вам не Герасим! Конь был умён настолько, что мог строить свои лошадиные умозаключения и смирился с пороком Гаврилы Васильевича. И хотя коня считали беспородным, тем не менее, он был высок и хорошо сложен.

Лютик запомнил и осознал много слов, даже такое, как «протрезветь». И каждый раз, проезжая с хозяином по колхозу, радовался тому, что от работы люди трезвеют, а, значит, стремятся походить на него.

Гаврила Васильевич часто шабашил – то уколы делал, то роды у коров принимал, то поросят подрезал. Работы было много – в каждом дворе подсобное хозяйство.

– Ну, Василич, теперича кабанчик в рост пойдёт... Давай-кась налью.

– Если вонючий, я лучше перебыюсь...

– Обижает – как слеза!

Гаврила Васильевич настаивал на деньгах в исключительных случаях. Неловко себя он чувствовал, полагая, что если потребует денег, то о нём будут думать, как о скупом человеке. Жена Гаврилы Васильевича, высокая, с большими хваткими руками Пелагея, часто бранила мужа за бесхитрость. И он, бывало, сделав над собой усилие, брал за работу деньги.

Под вечер Лютик привозил сморённого в телеге или в санях (если зима, конечно) хозяина ко двору. В душе коня теплилось чувство жалости. Лютик предвидел, что хозяина будут ругать. Он наверняка отвёз бы его в другое место, если был бы твёрдо уверен, что там горит очаг, и пьяненького ветеринара примут как своего. У знакомых деревянных ворот Лютик начинал прядать ушами, бить копытом и ржать. Из избы выходили наспех одетые сыновья, а следом за ними,

поправляя платок и бранясь, жена. Когда Гаврилу Васильевича вытаскивали, как сноп, из саней, он бормотал что-то бессвязное. Ослабевшими ногами ветеринар, утаскиваемый в избу, чертил по снегу. Лютик с тоской глядел на этот след, словно это было последнее, что оставалось на земле от его любимого Гаврилы Васильевича... Потом и его заводили в хлев, насыпали овса.

Тем временем в избе жена «угощала» проштрафившегося мужа скалкой по спине. Всесезонное пальто Гаврилы Васильевича лоснилось на лопатках и ниже.

– Вот короста такая! – приговаривала свирепая Пелагея, работая скалкой. – Сколько ты будешь горькую жрать!? В дому ни копейки...

Наверное, даже за двойными рамами можно было услышать гулкие хлопки, похожие на те, что раздаются, когда выбивают ковры. Гаврила Васильевич мычал и ворочался, словно полз куда-то в неведомые дали, и сквозь пелену хмельного полузабытья проридалась мысль, что будет он последней скотиной, если занесёт над гнедой спиной Лютика кнут. Сыновья молчаливо наблюдали картину отцовской казни, но внимательно следили, чтобы мать ненароком не «съездила» пьяненького по голове.

...Как-то на исходе лета у Гаврилы Васильевича прихватило сердце. И его отправили в поликлинику, в город. Лютик затосковал. От овса воротил морду, неохотно работал по хозяйству, с нетерпением ждал, когда крадучись волчицей при-

дёт с востока ночь... По ночам ему снился горячо любимый Гаврила Васильевич. Будто едут они по залитым солнечным светом лугам в далёкий город лечить кому-то сердце своей добротой... В воздухе витал запах разнотравья. Лютику в дремоте чудилось, будто к хлеву, стуча сапогами, приближается покашливая Гаврила Васильевич. Конь сбрасывал дурман сновидений и храпел, носясь в тесном, пахнущем сеном пространстве.

Гаврила Васильевич, малость оправившись, с тоской вспоминал верного друга. Как с ладони хлебом кормил, как Лютик игриво толкал его в грудь головой.

«Господи, хоть ба его никто не обидел, – думал хворый ветеринар, ворочаясь бездонными ночами на топчане. – Не понимают же люди, какой он умный и чуткий...»

Пелагея навещала мужа раза два.

– Как там конь-то мой? – с тревогой спрашивал Гаврила Васильевич. Он не произносил имя коня в разговоре даже с близкими. Словно берёг это имя от чужого глаза...

– Да как... Упрямится, – раздражённо отвечала жена. Наверное, потому, что испытывала ревность – не о жене и детях печётся, а о скотине...

Гаврила Васильевич таинственно помолчал и вдруг стал стягивать рубаху:

– Польк, забери-кась ему понюхать, а? Она лекарствами-то воняет, но и потом моим тоже... А я в пижаме буду. Пижамы есть.

Пелагея с удивлением взяла в большие руки голубого цвета рубаху.

...Лютик возрадовался! Он смекнул, что хозяин где-то недалеко, и к нему нужно вырваться. Тогда хозяин обрадуется и быстрее пойдёт на поправку. Конь запомнил, что, когда говорили о Гавриле Васильевиче, то неизменно произносили слова – «город», «больница». Конь предполагал, что между ним и хозяином – заливной луг, река, лес... А там, если следовать по дороге, вот тебе и город. Лютик не страшился неведомых далей, и бежать можно было в любой день. Тем более, его не стреноживали – знали, что никуда не уйдёт. Но вместе со светлым чувством скорой встречи, в сердце коня невесть откуда забрался тарантулом необъяснимый страх. Может, память крови подтолкнула на ум стальные крючья с нанизанными тушами, каких-то чумазных людей, говорящих на непонятном языке...

Лютик пересёк луг, переплыл глубокую реку. Огромный сом, растревоженный волнением воды, поднялся из своей ямы и длинным, холодным усом коснулся рассекающего тяжёлую воду копыта. Лютик продрался сквозь лесную чащу, в которой по его следу бежали три исхудавших волка, в бессильной злобе лязгая зубами. Но с пути его сбили цыганские кобылы...

Сыновья Гаврилы Васильевича всю округу исколесили верхом на колхозных лошадёнках, участковый на мотоцикле по дорогам пылил. Словно неведомая чёрная сила скрыла

ото всех Лютика.

Печальная весть застала Гаврилу Васильевича в родной избе, свалилась на лысеющую голову стальным обухом.

– Дру-у-уг ты мо-о-ой, где жа ты тепе-е-ерь? – плакал он в хлеву. – Что за лиходе-е-ей тебя пойма-а-ал!?

Крупные, как горох, горячие слёзы катились на потёртый хомут.

И Гавриле Васильевичу вспомнилось, как учили с младшим сыном «Песнь о вещем Олеге». Слов, конечно, мужик не помнил, но остро чувствовал, что было у князя на душе. Снились мужику острые крючья, свистящие злобно плети, жалостливое ржание...

Горе горем, а жить нужно дальше... Вернулся Гаврила Васильевич на работу после недолгого больничного. Но на лошадей не мог глядеть без нутряной сосущей боли. Пелагея настаивала коня купить, чтобы в хозяйстве был.

Но Гаврила Васильевич почему-то не торопился с этим делом, не попадаетеся, мол, подходящего – то зубы стёрлись, то спина провалена...

Едва ли ни каждая ночь приносила ему видения... Будто в предутренних сумерках стоит у ворот Лютик и храпит, и стучит копытом, и зовёт Гаврилу Васильевича.

– Иду, мой милый! – вскрикивал мужик, отринув сон, и бежал к воротам.

Пелагея тревожилась. Однажды ведунью привела, чтобы «пошептала» над замороченным мужем. Гаврила Василье-

вич такой скандал поднял, что Пелагея обомлела – никогда с ним подобного не бывало.

– Да чтоб тебя черти взяли-и-и с конём с эти-им! – разрыдалась жена. – Совсем ужо сдурел, наказание мой-о-о!

...Холодные туманы стояли над селом, осень золотом осыпала деревья. В гусином крике дрожало что-то щемящее, прощальное. И вновь под утро привиделось мужику, что призывно заржал его Лютик у ворот. Хотел было вскрикнуть, иду, мол, дорогой, но осёкся, взглянул на дремлющую Пелагею. Перекрестился. И опять почудилось, что конь его храпит за окном.

«Всё... Конец... Дошёл я до ручки, ужо взаправду мерещится», – обречённо подумал Гаврила Васильевич.

Вдруг подхватился он и, как был в рубахе и кальсонах, так и ворвался из нутра избы в холодное осеннее утро, остро пахнущее небесной высью. Как в беспамятстве, отпирал Гаврила Васильевич ворота и бросался исхудавшему Лютику на шею, покрывая поцелуями её, расписанную шрамами от плетей, словно знаками злобы человеческой. Чувствовал Лютик, как ровно и мощно несла их с Гаврилой Васильевичем Земля...

Морской волк

Неизвестно, кто дал ему такое прозвище – Морской волк. Может, друзья, а может, сам придумал, но появилось оно потому, что Лёха полгода ходил на судне близ берегов Камчатки и ловил крабов, чтобы заработать денег. Там, на краю Земли, он, как ему казалось, переосмыслил свою жизнь, решил, что понапрасну растрчивает бесценные годы молодости. Лёхе было тридцать два года.

– Вроде недавно исполнилось двадцать, а уже тридцать два стукнуло! Где я эти годы разбазарил?! – часто удивлялся он. И в этом искреннем удивлении чувствовалась некая потерянности, тоска по ушедшим в неизвестность годам юности, словно спешил человек на пароход, уверенный, что через считанные минуты отойдёт от берега и направится туда, где за промозглыми туманами всё хорошо и покойно, но на контроле выяснилось, что билет потерян. Вот такое снедало чувство – жгучее, болезненное.

Лёха был сыном разорившегося бизнесмена, который одним из первых начал не без успеха вести в городке предпринимательскую деятельность. В детские годы Лёха ни в чём не нуждался. Напротив – когда в школе ещё не было компьютерного класса, а многие Лёхины одноклассники видели ПК только в американских фильмах, у Лёхи компьютер уже был. В сущности, он был парнем неглупым, одевался по мо-

де, по ночам катал девчонок на отцовской иномарке. Вскоре появился собственный автомобиль, который Лёха разбил, попав в аварию.

Он много чего разбил. Ломал руку, ключицу, разбивал голову, новый мотоцикл и подержанную иномарку. Лёхе не везло, а может, он был безответственным. Или какая-то страшная сила, несущая горе, крушение, через Лёху подбиралась к его семье... Росли долги. Ходили слухи, что его отец увлёкся азартными играми. Все причины такого драматичного развития событий неизвестны, но магазин пришлось продать. Отец начал попивать, мать пошла в уборщицы. Наступило безденежье. Ужасающие перемены в жизни этой семьи произошли за какие-то два-три года. Лёхе хотелось жить, как прежде. Он всё ещё считал себя золотым мальчиком, и, когда ему на бирже труда предлагали идти работать на свинокомплекс, он отказывался, считая, что работать там ниже его достоинства. Лёха уезжал в областной центр и устраивался в какие-то фирмы – то риелтором, то торговым представителем, но нигде дольше нескольких месяцев не задерживался. Владелец привлекательной внешности, он знакомился с девушками, но ни с кем не завёл серьёзных отношений: то он, получив своё, бросал, то его, зачастую остававшегося с пустыми карманами, бросали.

Так жил Лёха, и, когда безденежье навалилось сильнее, а ближайшие перспективы не сулили никаких перемен к лучшему, он улетел на край Земли, на Камчатку. Бескрайние

морские просторы, тяжёлый физический труд, отдалённость от соблазнов, величественная природа Дальнего Востока, суровые сопки, на могучих плечах которых лежит небо, солёный сырой воздух, пробирающий до костей, сделали своё дело – очистили душу человека от скверны.

Несколько раз он видел бурых медведей на побережье: медведицу и медвежат. Только работал и размышлял. В минуты отдыха, лёжа в кубрике, когда приятная слабость проникала во все мускулы, думалось легко и просторно. Во снах Лёха часто видел молодых родителей, видел, что он маленький, идёт с ними куда-то, идёт, и ему хорошо и безопасно. Мысли о родителях, об их бедственном положении волновали сердце, может быть, впервые в жизни. Становилось жаль отца и мать, терпевшую унижения на работе, – начальница устраивала скандалы и грозила уволить за постоянно мерещившуюся ей кражу моющих средств.

– Вот вернусь и заживу по-другому, как человек, – говорил себе Лёха. – Скоро стукнет тридцать три, а у меня ни своего дела, ни положения в обществе, ни семьи.

Почему-то в его мечтах появлялся образ Наташи – девушки, которая жила с ним на одной улице и работала учительницей в школе. Наташа не ходила ни в пиццерию, ни, тем более, в бар. Только сидела над книгами, справочниками. Раньше он её не замечал, а теперь в мыслях милым казалось ему её лицо, её очки, придающие Наташе наивный вид. Доброе искреннее чувство разрасталось, обласкивало душу, словно

лучи восходящего над угрюмым морским простором солнца. Косматые длинноногие крабы с тяжёлым хрустом сыпались в трюм, пахло морем. Лёха думал, что так его бесценные дни жизни улетают в небытие.

«Хватит! Больше так жить нельзя, – рассуждал Лёха. – Пора переломить, пока не поздно...»

Во время ненастья, когда за бортом ходили серо-зелёные громады моря, гривы ретивых, свирепых волн вскипали, ему стало страшно, что вдруг он чем-то заболеет и умрёт здесь, вдали от дома, так и не начав той новой жизни, о которой возмечтал, или судно пойдёт ко дну, или в какой-нибудь из роковых дней произойдёт несчастный случай – прибьёт снастью... Так иногда случается. Лёха не знал молитв, но машинально стал твердить едва слышно:

– Господи, помоги, Господи, не дай мне пропасть...

В застёгнутом нагрудном кармане куртки лежал билет на долгожданный самолёт. Дома всё осталось по-прежнему – отец топил свою печаль в алкоголе, мать работала уборщицей. За часть заработанных Лёхой денег перекрыли крышу, поклеили новые обои, вставили в холодной материной комнате пластиковое окно. Мысли о новой жизни почему-то не имели той искренности и силы, какими они обладали вдали от дома. Жизнь шла так, как прежде. Морской волк, так теперь величали Лёху друзья, вившиеся вокруг него день и ночь, ходил по улице в тельняшке – герой из героев. Угощал друзей, за выпивкой рассказывал правдивые и не совсем ис-

тории из своего полугодового приключения на краю Земли.

– А в шторм ваша команда попадала? – спрашивал один из друзей.

– Бывало, и не раз! – отвечал подвыпивший Лёха.

– Страшно, наверно, было?

– Да ни фиги!

Лёха купил подержанную иномарку и умчал в областной центр, потому что через сайт знакомств нашёл там подругу. Но эти отношения, как и предполагалось, вскоре прекратились. Потом была вторая, третья подруга. Неизвестно, сколько бы Лёха куражился, но однажды летом пришло письмо от бабушки по материнской линии, которая жила в Томской области, в одной из деревень, срубленной среди тайги. Старушка сообщила, что захворала, и попросила, чтобы родственники приехали её навестить. Лёха, для которого дорогие воспоминания о невозвратимом детстве были крепко связаны с бабушкой, собрался в путь. Дома поговорили о том, чтобы он уговорил бабушку, которая всегда твердила, что помирать будет в родной избе и никуда не уедет, переехать, а потом, если получится, продать усадьбу.

Путь был долгим – поезд, автобус, попутка. Бабушка, как заметил Лёха, сдала. Но по приезде внука повеселела, жизненных сил у старушки прибавилось. Да и Лёхе жизнь в бревенчатой избе с голубыми наличниками здесь, у истоков своего рода, казалась гораздо лучше, чем дома. Он вновь настроился на спокойный лад, хотя временами скучал по жиз-

ни, из которой приехал, по всем её соблазнам. И, чтобы побороть тоску по куражу, занимал себя трудом до усталости. Нравилось колоть дрова, растапливать печь, слышать, как потрескивают, занимаясь пламенем, чурки, нравилось копаться в огороде, хлопотать по хозяйству, как в своё время делали его дед, прадед, сидеть вечерами на крыльце, дышать чистым воздухом и глядеть на стоящий поодаль неприветливый и в то же время манящий лес. Вспомнились давно позабытые легенды, которые рассказывала бабушка, о таинственных пещерах, о затерянных в тайге озёрах, по берегам которых жили староверы, а теперь остались лишь мёртвые, полуразрушенные поселения, где много лет не ступала нога человека и торжествовала нежить.

– Ба, а помнишь, мы когда-то с дедом ходили на озеро рыбу ловить, там у него ещё лодка была? – как бы между прочим спросил Лёха, когда они с бабушкой уже погасили свет и собрались спать.

– Помню, внучек, – ответила старушка. – Ты тогда, можить, класс у пятый ходил.

– А далеко это? Я уже и не вспомню, – допытывался Лёха.

– Можить, час итить. Ты никак вздумал в тайгу направиться? Вот тебе мой сказ – выкинь из головы. Дед твой каждое деревцо знал, по солнцу направления угадывал, а ты потеряешься, сгинешь. Сиди вот лучше со мной, старой. И мне веселее будет.

Лёха промолчал. Он отвернулся к стене и вскоре уснул

тем спокойным и глубоким сном, как могут спать люди, освобождённые от тревог. Спустя несколько дней он всё-таки бабушку обманул: то ли память крови его поманила в тайгу, то ли разыграл в нём авантюрист, который, бывало, укладывал Лёху на больничную койку травмпункта, — неизвестно. Утром сказал, что пойдёт помочь дальнему родственнику деду Фильке, живущему на другом краю деревни, починить крыльцо, а сам втихаря взял заготовленный топор, дедовскую финку, в тряпичную сумку положил полбуханки хлеба, бутылку воды, спичек в карман и поспешил навстречу приключениям.

Когда он вошёл в лес, то в голове бесшумно, как сова, шевельнулась мысль — не вернуться ли? Но неведомое чувство подтолкнуло Лёху переступить незримую черту, и он пошёл, делая затёсы, как когда-то учил ныне покойный дед. Поначалу путь казался лёгким. Деревья стояли редко, по мягкому мху в резиновых сапогах было мягко ступать. Вязаные бабушкой носки грели ноги. Прошло часа два, а заветное озеро всё не появлялось. Лес изменился, деревья будто бы сгрудились, небо затянуло низкими тучами, стал накрапывать дождь.

— Ладно, ну его это путешествие, — сказал Лёха вслух. — Надо домой поворачивать. Не туда забрёл. С дедом мы скоро к озеру добирались. Это ж насколько я километров углубился?

Он повернул, как ему казалось, обратно, долго шёл, но

не мог найти зарубок на деревьях. Остановился, озираясь, и вновь побрёл наугад. Менял направление и спешил в другую сторону, транжиря драгоценные силы. Пробираясь через топь, где из-под сапог брызгало чёрной жижей, устал. Присев на поваленное гнилое и потому скользкое дерево, Лёха ощутил, как под сердцем собирается холодок, словно к телу прикоснулись лезвием ножа. Дождь накрапывал, становилось холоднее, лес мрачнел, пахло сырым мхом, гнилой древесины.

– Нужно согреться, – решил Лёха и принялся искать сухие ветки, чтобы развести костёр.

Как назло, всё, что попадалось под руку, было сырым: вчера тоже моросило. Кое-как насобирав веток, стесав с деревьев топором кору, он развёл костерок и долго сидел, глядя на огонь. Мгла то отступала, то вновь надвигалась, будто танцевала вокруг костра. Так и не обогревшись, Лёха, который никогда прежде не оказывался в подобном положении, засуетился, запаниковал, затоптал костёр и поспешил двинуться в верном, как решил, направлении к деревне. По солнцу ориентироваться было нельзя, потому что тучи навалились на верхушки сосен и елей. Лес был один и тот же, и человек, не знавший этого мира, живущего своей отдельной жизнью, умеющего с поразительной точностью отбирать лишь сильных, обрекая на гибель слабых, остановился и закричал от отчаяния, а потом сел на сырой мох и заплакал.

– Прости меня, дурака, – шептал он, утирая слёзы рука-

вом куртки, вспомнив наставления бабушки о том, что лес не прощает ошибок...

Просидев так неизвестно сколько времени, Лёха поднялся и пошёл, чувствуя, насколько он ослаб за эти часы: суставы и спину ломило, мысли разбегались, словно мыши. Был только страх и ненависть к самому себе.

– Вот и всё, хана тебе, думал, ты крутой, да? – скрежетал Лёха зубами. – А вот хрен тебе. Ни фиги ты не стоишь, дешёвка! Как и все мы со своими понтами. Это не по сайтам знакомств лазить. Всё, короче, можно здесь ложиться подыхать.

Незаметно, как это бывает в тайге, сгустились сумерки. И откуда-то из глубины души, сквозь ржавчину копившейся годами ложной, сытой самоуверенности, заблуждений на свой счёт, сквозь страх и душевный беспорядок, просочилась ясная мысль:

«Надо держаться. Сейчас вот хлеба пожую и воды выпью. Только бы силы остались, должен же я как-то выбраться. Не сдавайся, Лёша, терпи...»

Одежда отсырела от пота и мороси. Холод пронизывал насквозь, тело ломило, но Лёха, собравшись, нашёл сухое место под старой елью, набрал подходящих веток, какие потолще срубил топором, и трясущимися руками поднёс спичку – не получилось. Со второй, третьей, четвёртой попытки костёр затрещал. Вмиг лес сделался ещё более жутким. Человек лежал на боку, свернувшись калачиком, натянув ворот-

ник куртки по самую бейсболку, и глядел то на огонь, то в темноту.

«Этому лесу тысячи лет, – думал Лёха. – Перемелет он мою жизнь, как мясорубка, и всё. Ничего не останется. Ничего. Кусты останутся, а меня не будет... Ещё и бабушку за собой на тот свет утащу. С ума сходит теперь».

Он думал, что его с этой вековой елью роднит общая судьба, дескать, простояло дерево, может, лет сто, и теперь они встретились. Только для чего он лежит здесь? Вверху среди ветвей раздался шорох – вспорхнула сова. Лёха поднял голову, прислушался. Он как бы посмотрел на себя взглядом таинственного, сурового мира, и увидел маленького, ничтожного, скрючившегося, словно сучок, человека.

«Пустота, ничего не останется», – подумал Лёха сквозь пелену надвигающейся дремоты, которую прогоняли укусы насекомых. Полчища гнуса вились вокруг него. В ушах стоял противный звон.

То Лёхе казалось, что он задремал, то он и вправду проваливался в тревожный сон, как в яму. Организм человека отключился, чтобы сохранить силы для борьбы за жизнь.

С рассветом тьма отступила, лес изменился. Теперь он не казался таким зловещим, но его вековое спокойствие внушало всё тот же неистребимый страх перед гибелью. Краем пробудившегося сознания Лёха ощутил пришествие нового дня. Он чувствовал себя так, словно пробыл в тайге несколько дней, но выяснившееся небо и солнце вселили робкую

надежду на спасение. Лёха брёл по тайге, цепляясь за ветви, царапавшие руки и лицо, продирался сквозь валежник, упал, разодрав штаны, полз, лежал на спине, измождённым взглядом помутневших глаз устремившись ввысь. Рука машинально искала в кармане потерянную спичечную коробку. В голове тяжело ворочались мысли.

«Если не выживу, что изменится? – размышлял он. – Ничего. Будет то же солнце, небо, деревья, меня не будет только».

Все прежние ошибки, всё, что когда-то казалось важным, стало незначительным, мелким. Есть только бабушка, мать, отец и он. И больше ничего. И надо ползти, пока остаётся хоть немного сил. Впиваясь грязными пальцами в сырой мох, он полз, а над ним перепархивала с ветки на ветку и тревожно посвистывала какая-то птица. Вдруг он уткнулся носом в след медведя, налитанный болотной влагой... Несколько секунд, оторопев, Лёха смотрел на отпечаток когтистой лапы, как бы что-то соображая. Подёрнутыми пеленой боли глазами обшарил пространство впереди себя: следы уходили вперёд. И подхватился, чувствуя, как сердце порывисто шумит в ушах. Рванул в противоположную сторону, упал перед приваленной ветками обглоданной тушей лося. Голова растерзанного животного смотрела на человека угасшим большим глазом с зеленоватым отливом, в углу которого запеклась слеза... Бормоча несвязное, Лёха на четвереньках пополз прочь. На жалкое уползающее существо глядел

издали из-за кустарника, шевеля влажными ноздрями, хозяин тайги. Медведь с простреленным ухом, наказавший за роковой выстрел неудачливого охотника, с хрустом вырвав рёбра, простил его. Но за что?

День перевалил за середину. Лёха лежал ничком. Вдруг ему послышался отдалённый звук бензопилы. Он поднял голову и стал вглядываться туда, откуда, ему казалось, донеслись звуки. Опять всё стихло.

«Сознание путается, – подумал он. – Не выбраться уже...»

Бензопила вновь зарычала, слух уловил треск падающего дерева, упругий гулкий удар. Лёха собрал оставшиеся силы и пополз на звук.

Неподалёку от лесозаготовки в полузабытьи его нашли рабочие, двое из которых жили в бабушкиной деревне. Лёху привезли домой, вызвали фельдшера. Несколько дней он провалялся в горячке. Теперь уже бабушка, как могла, глядела за ним.

– Ты прости меня, – тихо говорил Лёха сидящей у его кровати бабушке, сжимая её холодную, шершавую, узловатую кисть руки. – Хотел сходить, где с дедом в детстве были.

– Да что теперь уж, – успокаивала его старушка, на долю которой выпало немало волнений. – Хорошо, что живой остался.

Лёха смотрел на бабушку, у которой такой же ласковый с грустинкой взгляд, как у мамы. И почему он раньше этого не замечал? Не замечал, что на её любимом платке сплелись в

простеньком узоре синие, оранжевые и красные цветы. Ему пришла мысль, что скоро у мамы будут такие же глубокие морщины, такие же руки. Он хотел сказать бабушке, что любит её, но сам себя застеснялся.

Прошла неделя. Вечером Лёха сидел на крыльце и глядел на лес, в котором чуть было не погиб. Лес почему-то казался ближе, что-то в нём изменилось – так же, как в человеке. Теперь Лёха постепенно понимал, как надо жить. Единственное, что отзывалось болью в душе, было горькое осознание того, почему на свою жизнь человек может взглянуть иначе, только пройдя через тяжёлые испытания? Вернувшись домой, он никому не расскажет, как полз сквозь тайгу...

Общага

*Напишите, как этот молодой человек
выдавливает из себя по каплям раба...*

А. П. Чехов

– Если с человека содрать лак культурного слоя, то останется животное, – говорил мой дядя, попыхивая сигаретой и следя за поплавком, который начал пританцовывать. – Да и вообще, не верю я в эти рассказы, что все люди бессмертны, что будут жить в едином начале. То есть и Лев Толстой, и... что этажом выше снимает, одинаково бессмертные души? Не верю...

– А что же тогда, дядя, получается? Человек живёт, чтобы потом удобрить землю?

– Всё это бессмертие, о котором ты почитываешь, я думаю, как медаль... то есть оно есть, но не каждому доступно, его заслужить надо.

– Как заслужить?

– Добрыми делами, наверное. Стремлением к высшим целям... а если прожить наглым, тупым потребителем, эгоистом и сволочью, то только червей и порадуешь. Есть души, а есть душонки.

Поплавок словно бы нехотя стал ложиться на воду, дядя подсек, и на том конце натянутой лески упруго заходила ры-

ба. Первый серебряный карась шевелил плавниками в ведре. Он слышал, как дядя прокашлялся и сердито сказал:

– Пора бросать... только человек может потреблять то, что его разрушает... с увлечением потреблять. Так и с интернетом твоим... всегда ставь знак вопроса, познавай действительность житейским опытом, мудрыми книгами, а не смартфоном. Старших слушай и помни – праздность сделает из человека обезьяну...

Сапогом он вдавил окуроч в глинистую землю и, помолчав, спросил:

– Знаешь, что в жизни самое страшное?

– Что?

– Стать зависимым... Не просто же так преступников лишают именно свободы.

– Но есть же внутренняя свобода, когда даже в плену ты свободен...

– Есть. Только чтобы её в себе найти, нужна железная воля и бескрайняя мудрость. А таких людей мало на свете. Вот Чехов, наверное, был таким. Так что не дай тебе бог стать зависимым от кого-либо или от чего-либо...

Этот разговор с ныне покойным дядей я вспомнил, когда нашёл на спутниковой карте снимки тех мест, где мы когда-то рыбачили. Река, извиваясь тёмно-зелёной змейкой, словно бы скользнула в лесок и выскользнула полем, и донёсся из далёких лет сладостно-приторных запахов трав, плеск воды, шёпот высокого камыша и казалось, что под сенью де-

ревью по тропинке идёт неторопливо с удочками дядя, которого нет на Земле, с которым не встретиться до скончания мира. Грустное чувство. Мистическое.

...В общежитии университета жилось... да как в общежитии. Окончив школу, я был неиспорченным юношей, вера которого в то, что в университете учатся сплошь умные, порядочные люди, рассыпалась, как карточный домик, стоило мне пробыть в общежитии не больше часа. Но обо всём по порядку.

Комендантша поселила меня в комнату к «историку» и «экономисту». Первого звали Даниилом Скоромным, второго – Ромой Носовым. Оба старше меня.

«С интеллектуалами жить буду!» – вдохновенно подумал я.

На липком столе, усыпанном хлебными крошками, лежала раскрытая общая тетрадка, с которой, как я узнал, Данила посещал занятия. Название лекции было коряво выведено могучей рукой, – хозяин тетрадки занимался пауэрлифтингом, как выяснилось позже. В названии лекции было что-то о Средних веках. Ниже на всю страницу изображалась огромнейшая задница, бугристая, словно два усыхающих толстокожих апельсина. Данила работал размашисто, по-рубенсовски. Работал грандиозно. Он был родом из Запорожья, где у его родителей имелся свой бизнес – магазин стройматериалов. Художество венчала жирная надпись: «Дупа Гридякиной». И пояснительный подзаголовок: «Цалулит».

...Нас сблизил, как сближает совместное священнодей-

ствие, один осенний вечер, когда на кухне, расположенной в конце выкрашенного синей краской коридора, мы готовили ужин – «картофан с яйцом». В открытую форточку тянуло прохладой осени, позолотившей листву каштанов. Данила, энергично помешивая деревянной лопаткой наше по-осеннему золотистое блюдо, с упоением рассказывал, как «распечатал» свою Людаху после совместного посещения кинотеатра. Глядя на белобрысого тщедушного Рому, он смешливо заметил:

– Когда твоя Танюха сверху, ты, наверное, ха-ха... стоишь не от удовольствия, а от боли!

Рома взглянул на него обиженно, но ничего не сказал. Он признавал первенство Данилы. Девушка Ромы была упитанной. Ему такие нравились. Они с Танюхой были из одного городка, расположенного от областного центра километрах в трёхстах. Знали друг друга раньше, но Танюха привязала Рому к себе именно сейчас, когда ей, первокурснице, понадобился человек, который поддержит на новом этапе жизни. Рома водил её в университетскую столовую, где расплачивался за двоих, и писал за неё рефераты.

– Ромка пишет реферат за палку! – посмеивался Данила, лежа на прогнувшейся кровати.

Пужинав, мы философствовали в потёмках, что-то выискивая взглядами по ту сторону оконного стекла. В разрывах туч виднелись осенние звёзды. Историк завёл разговор о нумерологии:

– У меня в дате рождения три нуля, это означает – три жизни!

– Или три смерти... – мечтательно отзывался из темноты Рома.

Он был увлечён всем демоническим – играл на своём стареньком ноутбуке в «Диабло», часто пересматривал «Живую мертвечину», слушал блэк-метал и носил металлический перстенёк в виде черепа.

Когда вполне предсказуемо оперившаяся Танюха его бросила, он едва не вскрыл себе вены. Вовремя заметили, как он в порыве иступления примерялся кухонным ножом к тонкому бледному предплечью, где синела пульсирующая жила. У знакомого художника Рома заказал портрет Танюхи, но подарка хватило, чтобы лишь отсрочить разрыв на несколько дней. Этот студент-художник по имени Петя жил в нашем общежитии. Учился на отделении изобразительного искусства. С ним мы легко сошлись. За глаза я называл его Петрушкой; он был кудрявым, голубоглазым, а по характеру благостным и открытым. Воспитывала Петрушку бабушка.

– Я ж поначалу тоже думал, что попал в общежитие храма науки! А получилось... комендантша подселила меня к трем придуркам, к таким, что и вспоминать страшно, – делился Петрушка со мной пережитым. – Постоянные циничные подколы, оскорбления. Эти трое рубились до утра в стрельки, на всю комнату стоял грохот. Я попросил не шуметь, они угрожать стали. А однажды... вздремнул я, значит, и

вдруг меня как будто что-то торкнуло: «Проснись!». Открываю глаза, а один из этих дебилов над моим лицом уже штаны приспускает... с глумливой такой харей. Ненавидели и унижали они меня потому, что я был не таким, как они. Им нравилось ненавидеть и унижать. В общем, я пошёл к коменде поговорить, чтобы переселила.

– Ну, Петя, и досталось тебе... и что она, переселила?

– Юлить стала. А я спросил – как, мол, так получается, что мы вчетвером ютимся в комнате, а есть люди по одному в двушках живут? Она давай кричать, что я не в своё дело лезу. Тут и у меня расшатанные от этой жизни нервы не выдержали, и я закричал, что у неё будут большие проблемы, что я жаловаться буду, ректору писать! Пыл у неё сошёл, стала меня убеждать, да с напором, чтобы я никому не смел об этом рассказывать, что я должен беречь сердце своей бабушки и терпеть, если я мужчина... Вот её, мол, сынок как-то попал в полицию, и ей об этом ничего не сказал, потому что берёг её сердце. И картинно слезу пустила.

– Так всякий упырь своих жертв уговаривает, чтобы молчали...

– Переселила, значит. В другую секцию, через стенку от этих. Сам понимаешь, что каждый день я с ними виделся... И вот как-то сдаю я ключ на вахту, а бабка-вахтёрша на меня вызверилась – что, мол, кляузник, заявления пишешь? Я опешил, какой, спрашиваю, кляузник? Я ничего не писал! А она: «Смотри – голосок у нас прорезался! Может ещё на

меня накатаешь заяву?!» А с теми дебилами, с которыми я жил, вахтёрша была ласковой... Весь этаж шептался за моей спиной о какой-то «заяве». Казалось, что я стал жертвой заговора!

– Сто процентов комендантша про «заяву» слух пустила, больше никому. А ты бы тем, кто шептались, сказал: «Пойдёмте к коменде, пусть покажет мою заяву!»

– Да что теперь... прошло и прошло. Эту коменду потом выгнали. Она, оказывается, сама в общаге жила, развела тут коррупцию. Наверное, на квартиру копила.

– А что ж те придурки?

– Да, а что... одного отчислили, остальные тоже из общаги пропали. Может, и благополучно добашляли до дипломов.

...В общем, написал Петрушка по фотографии великолепный портрет этой Танюхи, но она Рому всё равно бросила. Забегая вперёд, скажу, что через несколько лет после окончания экономического факультета Рома женился на безобразно толстой женщине с двумя детьми, которая была старше лет на десять. А наш художник... шёл я однажды по нашему провинциальному городу, после дождя пахло липовым цветом, и вдруг взгляд выхватил необычную игру оттенков в одной афише: в выставочном зале открывалась выставка... Петрушки! Сам не знаю почему, но ком подступил к горлу, и улица утратила свои очертания... и вспомнилось Петрушкино:

«Не представляю, что со мной будет, если бабушки не ста-

нет...»

...Я исправно ходил на пары. Как-то вернувшись, я застал в комнате худого парня с большими волосатыми, как у примата, руками. Звали его Андрюшей Кутько. Почти весь прошлый год он прожил с Данилой и Ромой, но во время летней сессии самовольно «свинтил к кентам» на другой этаж.

– Коменда, сука, узнала, что я нелегально свинтил, и пригрозила, что выгонит, если не вернусь на место, – объяснил он мне.

Данила и Рома были не в восторге от его появления.

– Хорошо, что у него комп сломался, – говорил Данила. – А то помнишь, Ромчик, как в том году: два часа ночи, а он, сука, смотрит своего человека-паука на всю громкость... Жаль, что нельзя морду набить – из общаги выгонят.

Когда Данила взял в Центре семейной медицины больничный, чтобы повидаться с семьей, когда я уехал домой на выходные, а Рома остался один, Андрюша выкинул удивительную штуку...

– Пацаны, это трындец! – рассказывал Рома страдальчески. – Привёл он свою шмару страшенную, и они прямо здесь, при мне... а потом ещё, сука, говорит: «Хорошо, Ромчик, моя кровать амортизирует!» И шмара сбоку лежит, подхихикивает.

– Вы, как пещерные люди, тут жили на выходных... – заметил я, ужасаясь.

– Общиной! – поправил историк.

– Анька из соседней секции в международной олимпиаде победила, – сказал я почему-то.

Однажды я застукал Андрюшу за журналом наподобие тех, в которые заносят сведения об успеваемости академической группы. Он что-то сосредоточенно в журнал записывал, чинно расположившись за столом и от усердия высунув кончик языка.

– Ты староста группы, что ли? – удивился я, невольно подумав, что Андрюша вхож в деканат.

– Какой на хрен староста! Триппер недавно подхватил, лечили антибиотиками, теперь вот капсулы для кишечника пропиваю, чтобы не бурлило. Записываю по дням. С кентами, это, поехали к бабам в Бобраву, там и подхватил, мля... староста... пусть недоделанные ботаны ходят в старостах! Нашёл, что ляпнуть... староста...

И прямо с гордостью воскликнул:

– Кого попало разведёнка за сорок трипаком не наградит! Как я танцевал у них в Бобраве, я был королём танцпола, ё-моё! Как я вышивал!

И, считай, по-отечески заключил:

– Так что, Гришаня, когда бриться станешь, я тебя с собой возьму. Вот жизнь где! А с этими, мля, Данилой и Ромчиком тебе человеком не стать.

Наверное, он решил, что такой задушевный разговор даёт ему полное право выпить из горла треть моей полторашки компота и умять две пригоревшие котлеты, кое-как по-

жаренные Данилой.

Однажды Андрюша влетел в комнату и увидел, как Петрушка показывает мне в альбоме свои шаржи на преподавателей. Художнику мой сосед был неприятен и он, тихо протившись, ушёл.

– Ты что с этим чм...ником общаешься? – брезгливо удивился Андрюша.

– Почему это он чм...ник? – раздражённо спросил я.

– Так его же пацаны, на которых он заяву накатал, чморили!

– Ну, во-первых, никакой «заявы» не было, а, во-вторых, этим «пацанам» не мешало бы морды набить...

– Хах, морды... ты, Гришаня, с ними не связывайся – они сильные...

– А я и не собираюсь с ними связываться. Сильные... с чего ты взял, что они сильные!? Сильный никогда не станет издеваться над слабым и унижаться перед тем, кто может за себя постоять.

– О-о-о, да ты – как я погляжу – философ!

– Я не философ, но вот здесь (я взял на полке недавно купленную книгу Корнея Чуковского о Чехове и стал нервно отыскивать нужную страницу) есть интересная мысль: «напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба...»

– Ой-й, не будь душнилой, а то девки любить не будут, – брезгливо поморщился Андрюша. – Хотя что-то в этом

есть... пойду-ка я выдавлю из себя по капле раба, а то с «кентами» пива напились.

И Андрюша направился в туалет. Почему-то мне вспомнились слова профессора Василия Васильевича, произнесённые на семинарском занятии:

«Пушкин – наше всё, но далеко не всё, что нас окружает, – Пушкин».

Это говорящее шимпанзе Андрюша всё делал быстро, на ходу. На ходу перекусывал, бросался, как в омут, в поездки – то к своим «разведёнкам», то в Харьков на Барабашово. С ходу находил подработки. Например, на строительстве спортивной арены. Родители зареклись давать ему деньги на сессию, и он клал в зачётку кровно заработанные тыщонки и пятихатки. Да ещё и подворовывал на стройке – то керамическую плитку, предназначавшуюся для будущего туалета, то инструменты разные. Загонял, наверное.

– Когда будет губер с разными шишками открывать арену, я возьму и скажу – а я тут на строительстве вашем по...рал, ха-ха-ха! – гордо делился он со мной мыслями по поводу будущего открытия арены и своего якобы участия в нём.

Ветры пускал Андрюша знатно, во сне особенно. Наверное, от антибиотиков. За это, ну и за порывистость, мы с пацанами прозвали его Ветрило. Он всегда укрывался с головой, с упоением вдыхая исторгнутое потрёпанным кишечником. Белые лебеди на его постельном белье стали со временем чёрными.

Помню, было это в начале зимы. Декабрь выдался скупым на снег, но щедрым на солнце. Утром мы с Данилой и Ромой поспешали на занятия. Шли радостные, выспавшиеся. Андрюша где-то несколько дней пропадал, обмолвился, что поедет в Харьков. Не только отсутствие Андрюши воодушевляло. Да, юность упоительна тем, что тебе кажется, что в этой жизни ты можешь стать кем угодно! Пусть иллюзия, но, как писал Пушкин, тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман... А детство? Почему оно всегда кажется даже лучше, чем было на самом деле? В детстве ты не знаешь, как закончится твой день, что будет завтра. Быть может, ты впервые побываешь в зоопарке, впервые поймаешь карасика... впервые. Прошло уже лет тридцать, а я помню, как в наш посёлок приехал зоопарк на колёсах, помню сильные руки отца, который поднимает меня высоко над столпившимися людьми, чтобы я мог лучше разглядеть утомлённого жарким днём чёрного медведя. В зрелости ты знаешь, что будет вечером, завтра и даже через год. И что от смерти не уйти тоже знаешь...

Шли мы, значит, мечтали, кто какие высоты в жизни брать будет, и вдруг довольная улыбка сошла со смуглого лица Данилы, – вдоль по алле каштанов шествовал навстречу Андрюша... в обновах – солнцезащитных очках, коротком чёрном пуховике, капюшон которого был оторочен рыжим искусственным мехом, в модных чёрных джинсах. Прошёл мимо с видом знаменитости мирового масштаба, не поздоро-

вавшись.

– Ветрило приехало, – коротко, обречённо сказал Данила. Рома презрительно сплюнул через губу.

На факультете тоже «кадров» хватало. Двое моих однокурсников стали воплощением мысли, что генетическая память всё же определяет поведение... Эти двое приехали с Колымы. В их отношениях не было теплоты, присущей землякам, которые встретились за тысячи километров. В их отношениях сквозил холод вечной мерзлоты. Я узнал, что их родители работали в системе исполнения наказаний. Более того, работа за колючей проволокой была делом семейным. То есть, возможно, прадедуська Вовы Морлова был «вертухаем» в том же лагере, где влачил жалкое существование Шаламов. Вполне вероятно, что прадедуська моего однокашника осыпал побоями несчастных, полусумасшедших людей и выслуживался, пресмыкался перед властью имущими. Второй из колымских студентов, сын начальника колонии, был подхалимом до нутра. Его прозвали «передастом»... за черту характера, которая заключалась в наушничестве. А этот самый Вова Морлов, вернее, Владимир Владимирович, как он любил себя величать, был ужасным циником.

На занятии он поспорил с преподавателем, горячо доказывая, что прежде чем исповедовать какие-либо ценности, нужно задать себе вопрос – а зачем тебе это нужно?

– То есть Вы, Владимир, в переполненной маршрутке не уступите место бабушке? – строго глядя поверх очков, спро-

сил преподаватель.

– Раз это не даёт никакой выгоды – значит, не уступлю! – шепеляво парировал Владимир Владимирович.

Морлов гордился тем, что был почти тёзкой Президенту страны. В социальной сети, в графе – «главное в жизни» – он выбрал «деньги и власть». В социальной сети я зарегистрировался лишь на четвёртом курсе, так что в то время, к счастью, не видел, что он выкладывал на «стене». А он, между прочим, выложил совместное фото со мной. Привязался на перемене:

– Ну, давай сфоткаемся!

– Да иди ты...

Он ловко упал мне на грудь и нажал кнопку на телефоне. Впоследствии кто-то из друзей рассказал, что на фото я получился хмурым, уходящим куда-то прочь из кадра. А Морлов – лучезарным. На следующей перемене он таким же хитрым способом сфотографировался с Ваней Ковалёвым, парнем под метр девяносто и весом около центнера. «В кругу моих кентов. Если что – они за меня горой» – лживо подписал Владимир Владимирович эти снимки. Вероятно, сфотографироваться с нами было необходимым для престижа. Я видел, как после посвящения в студенты он с паучьей манерой, с озабоченностью работодателя-вербовщика завлекал однокурсников отправиться праздновать к нему на квартиру. Морлов снимал квартиру за деньги, приходившие из холодных каторжных краёв... Он ни в чём не испытывал недо-

статка – покупал дорогую одежду, ирландский виски. Ему хотелось быть центром факультетской жизни. И хотя на гитаре он с горем пополам брал два аккорда, этот инструмент являлся его неизменным спутником на студенческих пирушках. Вряд ли Морлов смотрел фильмы советской поры, в которых какой-нибудь юный романтик с гитарой был душой компании и любимцем девчат. Но ему хотелось быть именно таким. Правда, одни однокурсницы, кто поумнее, его вскоре возненавидели, другие же – боялись. Дело в том, что он начитался глупых, циничных книжек о «правилах съёма» и решил, что женщина проста, как угол дома: стоит лишь сказать несколько коронных фраз, потрогать украшения – серьги или кулончик – и можно смело укладывать в постель. Однажды, увязавшись за мной в университетскую столовую, Владимир Владимирович поверил мне свои сексуальные фантазии относительно противоположного пола. Меня едва не стошнило... Ел он ужасно много – брал по три котлеты, суп, картофельное пюре, два компота и треугольный кусок медового торта. Он рассказал, как в детстве, лет в пять, просил родителей разбудить его пораньше, чтобы посмотреть рестлинг. У них было спутниковое ТВ. Я, например, просил родителей включить мультики. Больше всего мне нравились, да и сейчас по душе, рисованные советские мультфильмы. А Владимиру Владимировичу включали похабное действо, и он с детским восторгом смотрел на полуголых вульгарных девиц, на таких же полуголых мужланов, которые пусть и по-

становочно, но с наслаждением избивали друг друга на потеху зажавшейся публике. Хорошо, что мы учились в разных группах. Помню, приближалась первая практика.

– Я поеду на Колыму! – с гордостью объявил Морлов в толчее перемены.

– Ну, конечно, дом есть дом, – вздохнул кто-то. – Я бы тоже поехал, да билет на самолёт стоит бешеных денег...

– Нафиг мне этот дом!? Мне там в редакции будут деньги платить!

Курс международной журналистики, который по желанию осмелились выбрать немногие из нас, вёл декан. И вот Александр Сергеич (декан) решил отправиться с нами на научный форум в Брест. Мы готовили доклады, посвящённые информационным агентствам Беларуси, анализировали тексты.

– Мне нужно, чтобы вы ко всему прочему прошли по городу, пообщались с людьми и написали путевые заметки – как, чем живут граждане дружественной нам республики, – вдохновенно напутствовал профессор.

Вдруг встрял Морлов:

– Мне кажется, Вы должны сделать нам аккредитации!

– Я не думаю, что это настолько серьёзно, чтобы...

– Как же! – перебил профессора Морлов. – Ну, допустим, подойду я к какой-нибудь белорускае, начну заговаривать, а она подумает, что я пикапер!

По лицу декана пробежало раздражение.

...Однажды я видел, как на лестнице одного из корпу-

сов университета он со смехом рассказывал по карманам каким-то двум страшным шмарам бумажные десятки. Шмары хохотали, выкрикивали непотребное. Это был один из его дешёвых методов «подсаживания на себя». Морлов стремился вогнать окружающих в зависимость. Порой это у него получалось – его поклонниками становились безнравственные, глупые девицы, для которых, например, летоисчисление начиналось со дня, когда захотелось айфон.

– Папу хоронили, когда я хотела айфон, – говорила одна из таких.

Влияние на людей было сродни навязчивой идее, как и желание торговать лесом в нашей бедной на леса области...

В группе Морлову мешал безраздельно главенствовать Колька Васьков – бессменный вратарь дворовой команды. Васьков забавлял меня шутками. Я не встречал человека, который умел настолько самозабвенно подтрунивать над собой. Колька постоянно что-то жевал – то кусок пирожка, то конфету.

– А что?! – посмеивался Васьков. – Мне главное рот чем-нибудь занять. Гришка, ты такой красивый, статный, что я аж возбуждился...

На большой перемене я, Колька и ещё несколько пацанов с потока пошли в магазин через дорогу от корпуса факультета журналистики. Местные мужики в возрасте называли этот магазин «чапком». Мужики похмелялись за «чапком». «Чапком» нагло расположился среди элитных многоэтажек как

будто с сознанием того, что находится в людном месте и приносит своим владельцам неплохую выручку. Васьков вогнал в краску полную продавщицу и рассмешил нас до коликов, сморозив:

– Дайте мне, пожалуйста, длинный, толстый «сникерс»!

На следующий день я сочинил про Васькова следующее:

«Одним длинным утром, Васьков поднялся с длинной кровати, надел длинные штаны и длинными шагами направился к длинной остановке, где сел в длинную маршрутку и поехал в длинный универ...»

Кольке это начало, как он заметил – «чего-то эпического», пришлось по душе. Тогда он сказал, что у меня в литературе есть будущее.

Он ухлёстывал за старостой моей группы. Ухаживания староста восприняла без восторга.

В один из дней на первую пару она пришла с алой розой.

– Ого! А кто это тебе, Лен, подарил? – с улыбкой полюбопытствовал кто-то из девчонок.

– А то ты не знаешь кто... – раздражённо ответила Лена и бросила розу на край стола. – Караулил меня у входа...

Васьков не унывал. По-видимому, чудачество являлось для него лекарством от переживаний в непростые периоды жизни. Однажды во время общей фотографии после факультетского вечера, приуроченного ко Дню науки, он с глумливой улыбочкой пристроился в затылок Ване Ковалёву. На что этот блондинистый утёс сурово прогудел:

– Не увлекайся...

В свободное время Ковалёв увлекался резьбой по дереву.

– А бабу голую вырезать сможешь? – заинтересованно спросил Васьков.

– Да запросто.

– А мужика?

Он много чего выдумывал. Например, во время сессии перестал подавать руку в знак приветствия. Рукопожатие заменил на манерную имитацию поцелуев в щёчку, примерно таких, какими приветствуют друг друга женоподобные завсегдатаи ночных клубов. Экзамены и зачёты дались ему не просто, но без долгов.

Я знал, что Васьков вовсе не тот, кем стремится казаться. Он с родителями жил на Гринёвке, в районе, куда лучше не соваться после того, когда солнце скроется в кровавом шраме горизонта. Я знал, что Колька пусть и недолго, но занимался боксом в одном из подвальных залов, где резко пахнет потом, старыми резиновыми матами, и слышатся звуки ударов по тяжело повисшим грушам. Зачем ему были нужны эти скабрёзные шуточки? Зачем он покрывал себя коростой самоуничижительного паясничества? Было ли это лекарством от переживаний? Бог его знает. Я и до сих пор не в курсе, что наговорил самозабвенно стебавшему самого себя Васькову циничный Морлов одним зимним вечером у себя на квартире.

– ...что это Морлова в универе не видно? – спросил я

Васькова на перемене.

– Ты знаешь, позавчера он на меня такое сказал, что я не выдержал – «прописал» ему двойку в голову, он и ушёл в клумбу...

В одну из учебных суббот, после окончания последней пары он позвал меня сходить за компанию в магазин спортивных товаров – нужно было купить вратарские перчатки. По пути мы разговорились по душам. Васьков обнаружил зрелый взгляд на жизнь, и тогда я полностью убедился, что он вовсе не поверхностный хохмач. Мы сошлись на том, что, пожалуй, самое безнадёжное в жизни, безнадёжное, как крышка гроба, – это «никогда»...

– В прошлом месяце с моим дедом случился инсульт, теперь он никогда не ходит со мной на футбол, а скоро «Спартак» приедет... – сказал Васьков, и глаза его заблестели.

Но всё же мы знали больше, чем понимали...

В группе тележурналистики учился коренастый парень, которого я прозвал Амбалом. Он с увлечением во время лекций рисовал что-то на купюрах. Однажды сев со мной рядом, он запустил мясистую пятерню в карман пиджака со стразами и выгреб на стол содержимое – студенческий, зажигалку и презерватив.

– Набор студента, – шепнул Амбал.

Удивительно, но этот Амбал соображал в математике. Он часто сокрушался:

– Какого я на этот журфак попёрся!? Проходил бы сейчас

матрицы...

Амбал колебался – то ли стать телеоператором, то ли идти в точные науки. В следующем семестре он перевёлся на физмат. Владимир Владимирович по неизвестной причине взял гелиевую ручку и, крадучись, спустился во мрачный гардероб. На бежевой куртке Амбала он старательно вывел несколько глубоко оскорбительных слов. Однако всегда найдётся тот, кто что-то да видел. После занятий рассерженный Амбал «прописал» Морлову, который пытался, активно жестикуюлирую, оправдаться, прямой в челюсть.

...Занятия у меня закончились позже, чем у соседей. Подходя к секции, я сразу уловил недоброе. В воздухе пахло вакханалией. Дверь в комнату была приоткрыта, слышался смех, громкие разговоры. За столом у окна, касаясь друг друга плечами, Данила и Рома резались в наушниках в «Контру» по сетке. Комнату заполонили «кенты» Андрюши, пили пиво, на полу серебрилась чешуя солёной рыбы, пахло солёным. Складывалось впечатление, что к нам в комнату ввалилась рыболовецкая артель и чистит, испаривает сельдяные брюха. Сам же Андрюша восседал по-турецки на кровати в новёхоньком пуховике, в очках и оживлённо рассказывал, как смотался в Харьков.

– Опа, опа! – весело вскрикивал Андрюша, накидывая на низколобую голову капюшон, отороченный рыжим мехом.

Он схватил нож и навесу стал резать напополам бронзового леща. Пиво пенилось в пластиковых стаканах.

Мне даже негде было встать, но к счастью, вскоре гомонящей гурьбой гости, а с ними и Андрюша, повалили из комнаты. Лавина двинулась дальше по общаге.

Данила и Рома оставили игру, и мы по странному течению мыслей, как сговорившись, стали обсуждать нашего соседа.

— А помнишь, как он хот-догом отравился и уехал потом к себе в Агаповку? — сокровенно говорил Рома. — Хоть пожили спокойно.

— Да... сидит даже на сессии в общаге. Не выгонишь.

— Эх, золотое время было, хоть бы ещё отравился!

— Таких домой не тянет... Ветрило поганое.

— Главное, я сплю, а он является посреди ночи, выключатель — хлоп, что-то взял и смылся, а свет оставил, козёл.

— Скотина...

— И жрёт чужое постоянно.

Вдруг Данила порывисто встал с кровати, подскочил к тумбочке Андрюши, достал его зубную щетку и остервенело «почистил» ею в промежности, а после положил обратно и, как ни в чём не бывало, лёг на место. Только заметил болезненно:

— Кажется, волосы выдернул...

...Вечером я читал «Страшную месть» Гоголя. Данила и Рома где-то бродили, может, в кино отправились, может, — в пиццерию. Нагрязнул Андрюша. Довольный. И погнал рассказывать:

— У моей тёлки в комнате соседка уехала, так мы... Зна-

ешь, как у неё кровать амортизирует!

Наверное, посчитав, что эта информация для меня весьма ценна, он схватил без спроса мой кусок пирога с мясом, а после в двери холодильника отыскал чей-то почерневший банан и мигом отправил в рот.

– Та-а-ак, чистим зубки и спатки, а то я две ночи не спамши, – спешно прожевав, изрёк довольный Андрюша и, как обычно, не глядя, схватил зубную щётку, пасту, которая у него никогда не заканчивалась, и пустился к раковине.

В приоткрытую дверь слышалось, как равномерно шумела вода, как Андрюша весело намурлыкивал незнакомый напев, гоняя щётку по зубам, находясь под эндорфинами от недавнего свидания. Влетев в комнату, Андрюша торжественно объявил, взмахнув рукой, словно подбросил что-то невидимое:

– Свежее дыхание облегчает выживание! Жизнь – это борьба, и главное в ней: банан в рот не брать!

С того дня я прозвал Данилу Зубным феем. Часто проходя мимо здания училища, мне становилось не по себе: «Если такое происходит в общежитии университета, то что тогда творится в общагах училищ и колледжей...»

...Произошедшее пятнадцать лет назад поднялось из пучин памяти – и вот почему. В новостях я вычитал, что один студент смертельно ранил кухонным ножом своего соседа по комнате. Пospорили – чья очередь выносить мусор... а ведь могло так стать, что убийца и не дрался никогда в

жизни. Наверное, моё подсознание специально подстроило так, что в водовороте новостей, бросающихся на человека из телефона, компьютера, телевизора, я выхватывал новости о смертельных преступлениях, совершённых вчерашними детьми. Я поразился жестокости. Откуда она? Что за левиафаны блуждают в тёмных душах этих людей? Чем эти левиафаны кормились, чтобы достичь монструозных размеров и вырваться в мир?

...Однажды приснилось, что мы с дядей сидим под той же старой раздвоенной вербой и глядим на полавки. Утренний туман клоками овчины повис на деревьях и камышах. Солнце поднимается выше, и туман, словно скупой хозяин, нехотя показывает свои владения – изгиб реки, полуразрушенный мосток поодаль. Пахнет водой и растительными соками.

– Глупость всегда идёт рука об руку со злобой и безответственностью. А безответственные, инфантильные люди думают, что мир можно лепить по своему усмотрению, – говорил дядя. – И в этом их главная ошибка...

Бриллианты для Саныча

Город пережил долгую, утомительную зиму, которая серым, ноздреватым льдом ещё лежала во дворах хрущёвок, в Центральном парке. На улице можно было повстречать одетых по-весеннему людей. Вечерами поднимался ветер, шумела вытяжка в квартире, утром под ногами хрустел тонкий, как стекло, ледок. На остановке у автовокзала бомжи – старик со старухой, дремали на лавочке в предрассветном мареве, скрыв своё горькое безобразие под драным, грязным одеялом на вате от шедшего навстречу обновлению мира. Дни становились заметно длиннее, в парке началась разноголовая птичья суета.

И возможно, под влиянием весеннего обновления преподаватель Владимир Саныч читал нам курс современной русской литературы. Доцент любил свой предмет. Был у нас второкурсник Паша, сын влиятельного чиновника. Этот детина, восстановленный по блату, дурачился на лекциях.

– Взять бы тебя-я-а, Паша, за ноги-и да стукнуть пару раз об стену-у, – хрипло сказал Владимир Саныч, поправляя очки. – Не всё покупается...

Преподаватель носил старые потёртые джинсы, серый свитер в катышках. Лестницы университета знали стук его стоптанных внутрь коричневых тупоносых ботинок. Саныч был человеком широчайшего кругозора.

– Думаете, они там у себя в Бразилии просто так попками вертят?! В этом ритуале сокрыта социально значимая информация! – рассказывал доцент, тараща глаза.

Говорят, что существует болезнь, когда мозг давит на глаза. Каждый глаз выпирает из своей орбиты, как варёное яйцо из подставки.

После занятий Владимир Саныч поспешал в свой недостроенный дом на новой улице, изогнувшейся за городом. Этой весной службы обещали провести коммуникации. Саныч воду в бутылках привозил. Семья обитала в одной отделанной комнате из трёх. В ненастные вечера, в метель, когда несло водянистым снегом, дети не выходили по нужде в летний туалет – боялись. Ветер завывал, клубы снега в ужасе неслись по разлатой, неблагоустроенной улице со штабелями досок, горами пеноблока. Доцент выливал содержимое ночных горшков в сугроб через дорогу. Но пришла долгожданная весна. Ворвалась взбалмошной красавицей в жизнь. Пахло по-весеннему, заговорили ручьи.

И возможно, под влиянием весеннего обновления Саныч читал нам лекции по Эдуарду Лимонову и его скандальному роману «Это я – Эдичка». Умные люди говорят, что махровый русофоб Збигнев Бжезинский заметил, дескать, ни одна книга так не подкосила американскую нацию, как роман Лимонова.

Решила поделиться впечатлением от прочитанных рассказов Замятина. Саныч вытаращил глаза и с укором, про-

тяжно, голос у него был, как у небезызвестного актёра дубляжа, озвучивавшего пиратские фильмы 90-х, воскликнул:

– Что-о там чита-ать!? Текст ужа-асный! Лимо-о-о-но-о-ов-а-а чита-ай!

Учился со мной в группе Долсик из Анголы. Носил португальскую фамилию Тейшейра. Было Долсику под тридцать, но считал меня старшим товарищем. И то, что мы неотвратимо приближались к диплому, вселяло в горячее африканское сердце тоску, тревогу.

– Женя, если я вдруг на родина не выдержю, я поеду учиться в Москва! – признался он.

– Чё это ты не выдержишь? У тебя же папа – алмазный король.

– Э-э-э, Женя, не всё так прост – у папа слишком много врагов... И не такой уж большой месторождень.

Долсик участвовал в жизни факультета – играл в футбол, пел на концертах в общежитии иностранцев, танцевал, став для нас своим. Он был невысокого роста, девушки находили его привлекательным.

– Женя, я тут познакомился с одной, но что-то не срослось, – печально поведал Долсик.

Он всей душой возлюбил русскую классику:

– Женя, русски литература – самый лучший литература в мире! Толстой, Достоевски, Чехов – они всё знали! Я не понимаю, как так можно писать!?

Тейшейра за год осилил «Войну и мир», чем возгордился.

– Теперь ты в общаге в авторитете у своих! – похлопал я ангольского друга по плечу.

– Да, Женя, я – афторите!

Удивительно, но Долсик, человек другой ментальности и культуры, понимал смысл жаргонных фраз, мог в компании безобидно заругаться на великом и могучем. Любил жареный картофан с яйцом и маринованные помидоры.

Вы читали четвёртую главу романа «Это я – Эдичка»? Нам самолично на семинарском занятии прочёл Саныч. Особенно выделяя сцену, но пропуская натуралистические подробности, где Эдичка интимно баловался на заброшенной стройке с... афроамериканцем. Сцену эту Саныч жирно выделил простым карандашом в томике Лимонова.

Так вышло, что Долсик опоздал, и досталось ему место как раз перед Санычем, то есть на расстоянии возбуждённого любовью к литературе дыхания преподавателя.

Саныч зачитывал фрагмент четвёртой главы громко, не замечая ничего вокруг. Зачитывая описание хищнического носа здоровяка афроамериканца, взглядывал поверх очков на сидящего перед ним студента. Долсик, то нервно чесал стриженный затылок, то втягивал голову в плечи, словно боясь удара в темя, то прижимался боком к холодной, выкрашенной в синий цвет стене.

Девушки переглядывались, боясь засмеяться, зная, как ревностно Саныч сторожит тишину. Наверное, минуты тянулись для Долсика ужасно долго...

После пары я сказал ангольскому другу:

– А говорил не выдержишь! Ты уже почти русский, ты всё выдержишь!

– Рюсски литература такой разны, – качал стриженной головой Тейшейра.

Долсик застенчиво засмеялся, что виднелись крупные, белые зубы. Пока не прошли Эдуарда Лимонова, на парах не показывался.

Незадолго до сессии, задержавшись во время дежурства по факультету (совершенно бесполезное занятие!), я увидел, как Саныч по-отечески обнимал Долсика в коридоре. Их силуэты на фоне окна, за которым в цветастой рубашке шествовал май, казались романтическими. Вечером позвонил Тейшейра, рассказывал, как Саныч сочувствует судьбе африканских народов и ненавидит западных империалистов.

– Женя, дрюг, принеси, пожялюст, зафтра конспект, – со смущением попросил Долсик. – Я знаю – рюсски дюша широкий!

– Принесу, «дюша» у нас да-а...

После того разговора я прозвал Долсика «Дюша». Стремительно прозвище трансформировалось в Дидье Дешам. Всем нравилось, кроме смущённого Долсика:

– Нет, трузья, Дешам – француз, а я почти рюсски...

Вместе с Костей, который учился на врача, и Долсиком сходили на концерт Кипелова. На следующий день я делился впечатлением с Санычем. Но виртуозная игра музыкантов

и странные ощущения, когда что-то могучее, словно океанская волна, раскачивало публику, преподавателя не взволновало.

– Биле-еты по две ты-ысячи-и-и!? – вытаращил глаза Саныч. – Да я за тыщу уби-ить го-ото-ов! Знаешь, сколько я должен госуда-арству?!

И, не дожидаясь ответа, добавил:

– Миллио-он! И детей тро-о-е кушать хотя-ят.

После окончания университета уехал Тейшейра в родную Анголу. Случилось мне повстречать Саныча, рассказавшего, что неожиданно Долсик перевёл ему деньги.

– Зна-аешь, дорогой, я никогда от студентов и выпускников ничего не получа-ал, – тарашил глаза Саныч. – Я растеря-ялся. Это же не книжка в пода-арок...

Встревоженный преподаватель через деканат созвонился с Анголой. Мял во вспотевшей руке телефон. Долсик сказал, что он теперь «почти рюсски», что у него «широкий дюша», а у преподавателя – миллионный кредит. Поначалу хотел бриллианты послать, но, во-первых, с этим возникли бы трудности, а, во-вторых, преподавателя могли бы обмануть во время сбыта. Вероятно, Долсик хотел поступить, как бывает в зарубежных фильмах, когда тот, в которого не верят, в финале присылает положительному герою золотой слиток или что-то в этом роде. Саныч не знал, как быть. Долсик позвонил мне по «скайпу».

– Я Санич подарок послал, а он отказывался. Слюшай,

Женя, у нас русски такой загадочни дюша, – с улыбкой удивлялся однокашник, словно открыл что-то в себе доселе неизвестное.

С тех пор прошло много вёсен, утекли талой водой. И каждая приходила, принося с собой пьянящий аромат цветения, обновление, надежду на лучшее, но почему-то хочется ещё раз прожить именно ту весну.

Разные судьбы

Клавдия Матвеевна имела непререкаемый авторитет среди соседок. Молодые бабы каждый день приходили к ней на посиделки за дельным советом.

– Если он к милке миловаться, – со значительным видом поучала Клавдия Матвеевна, – ты бери костыль да по вокнам им, по в-о-окнам!

– Да как-то, баб Клав, боязно.

– Ничё не боязно, пусть знают! – с высоты опыта поучала широкая в кости Клавдия Матвеевна, сидя на лавочке у палисадника, словно монумент.

И, наверное, благодаря Клавдии Матвеевне в деревне ещё изредка, но бушевали те особенные страсти с битьём окон. Страсти, которые, казалось бы, должны были отойти в прошлый век.

Ещё Клавдия Матвеевна с удовольствием рассказывала, как правильно готовить, например, печь хлеб или блины. Молодые бабы заслушивались её полусказочными рассказами о прошлом, когда на каждой улице жила своя ведьма, которая, обратившись в чёрную кошку, доила чужих коров, когда в «коноплях что-то пужало». Наверное, бабам было страшно интересно слушать про голод, когда мужик, у которого на днях таинственно пропал ребёнок, пошёл к соседу и в холодце (в голод!) поддел ложкой детские пальчики...

Подобные истории Клавдия Матвеевна рассказывала словно бы со священным ужасом, но чувствовала гордость, что пережила она и голод, и войну, и даже Сталина. И вот сидит сейчас на лавочке у палисадника, где шелестит листвой сирень, крепкая и большая, как булыжник.

Клавдия Матвеевна – дебёлая восьмидесятилетняя старушка, с крупными чертами лица, мать пятерых детей, которые изредка навещали её, – привозили внуков на летние каникулы. Её муж фронтовик Иван Тихонович умер лет десять назад, но Клавдия Матвеевна не чахла, словно беззащитное деревце, а жила с претензией на то, чтобы отметить вековой юбилей. Такой крепкой породы она была, что даже в свои восемьдесят сама пропалывала тяпкой двадцать соток картофеля дня за два.

Старушки и бабы, приходившие к ней на посиделки, – летом на лавочку у палисадника, в котором по весне благоухала сирень, а зимой – в избу, завидовали её крепости и считались с житейской мудростью. Некоторые, порой, спорили, слово поперёк старались вставить, но одолеть упёртую Клавдию Матвеевну в споре не могли. Что говорить, муж её, дважды кавалер ордена Великой Отечественной войны, морской пехотинец, председатель ревизионной комиссии колхоза «Красный путь» не смог одолеть за сорок лет совместной жизни...

– Сколько разов тебе говорить – не наливай поросётам по полному корыту, оно ж прокисает! – ворчал, бывало, Иван

Тихонович. – Они ж не едят прокисшее, а ты крыс разводишь!

– Да что им свиньям гомна делить?! – протестовала упрямая Клавдия Матвеевна. – Перед свиньями ишо мудрый тут... а крысы они издавна велись.

– Не сыпь в компот по три чайных стакана сахара!

– Да какую я беду изделала?!

– Да никакую! Сколько ж тебя учить?!

– А чё меня учить!? Я сама кого хочешь вывучу...

Старик беспомощно матерно выражался, протяжно вздыхал и одевался, чтобы идти в сарай выбирать пузырящуюся жижу из корыта.

– Вот посадила ты, мать, капусту сорта «Каменная голова», – говорил он, обувая кирзовые сапоги. – А каменная голова – это у тебя! Хучь кол на ней теши.

– Да пря-ямо!

– Вот тебе и прямо.

Иван Тихонович смирился с негибаемостью натуры своей бабки. По молодости гонял он её. Но догнать, морской пехотинец, не мог. Как вихрь мчалась большая простоволосая Клавдия Матвеевна по улице, словно многоборец. Иван Тихонович, запалившись, останавливался посреди пыльной дороги, и свирепо глядя на улепётывающую жену, сплёвывал, поправлял съехавший картуз и, в досаде махнув рукой, направлялся домой.

Тоскливо поначалу было Клавдии Матвеевне без мужа...

Часто засматривалась она на одиноко висевшие на вешалке пиджак и картуз Ивана Тихоновича, на ореховые удочки под крышей сарая. Со временем картуз и пиджак покойного прочно обосновались в чулане. Жизнь шла своим чередом. Дети привозили внучат на летние каникулы, и Клавдия Матвеевна приободрялась. Когда солнце укатывалось за горизонт, а в открытую форточку тянуло прохладой, и слышалось отдалённое мычание коров, которых гнали с пастбища, Клавдия Матвеевна беседовала с внучатами – мальчиками погодками: Геной и Женей. Первому идти в седьмой класс, второму – в шестой. В посиделках с соседками старушка решила устроить редкий выходной.

– Ба, а какой я родился? Ты помнишь? – спрашивал Женя, лёжа в кровати с книжкой.

– Да какой, ма-аленький был, – ласково отвечала Клавдия Матвеевна, сама себе улыбаясь.

– А какой маленький?

– Да вон ложка лименевая на столе лежить, вот с неё.

– Да она ж совсем маленькая!?

– Мама говорила, что ты пятьдесят сантиметров родился, – встревал серьёзный Гена. Он был отличником. – С ложку это щенки рождаются!

– Ничё вы никому не верьте, – обижалась Клавдия Матвеевна, – Я старая и усё знаю. Поболе ваших учителей у городе! Родился ты, Женя, с ложку, а ты, Гена, на пальчик длинше.

– Мелешь ты, бабушка, что попало! – пререкался Гена. –

Таких детей не бывает!

– Во-о дожилася бабка! – негодовала Клавдия Матвеевна, сокрушённо качая головой. – На бабушку кажешь «мелешь»... Вывучился у себя там у школе! Мякина у головушке!

– Выучился, – недовольно отвечал Гена и уходил во двор поиграть с псом Мухтаром, украдкой стянув для него котлету из холодильника. Бабушка ругалась, завидев, что внуки подкармливают пса котлетами или колбасой:

– Нехай жре картохи! Ишо перед кобелём тут мудруй!

На улице было прохладно, сгущались сиреневые сумерки. Тишину нарушало звяканье цепи Мухтара, который подпрыгивал на задних лапах, тонко скулил, радуясь сочной котлете. На реке в шепчущихся камышах протяжно и заунывно гудела выпь, дрожал в остывающем прозрачном воздухе рой мошек.

Гена скучал по маме и папе. Днём он отвлекался – ходил с Женей на рыбалку, читал книги, пинал футбольный мяч, а по вечерам, когда на небе зажигались молчаливые звёзды, почему-то наваливалась грусть, и хотелось домой.

– Ба, а куда из палисадника половина сирени делась? – спросил Гена, вернувшись в избу.

Клавдия Матвеевна с Женей смотрела по телевизору, у которого временами барахлил звук, новости. Эту привычку – смотреть новости – старушка переняла от политически подкованного мужа, который всегда интересовался, как

там «хворый Ельцин» и «соколик наш Путин». Телевизор «вскрикнул», и Клавдия Матвеевна, схватившись за сердце, воскликнула сердито:

– Да чтоб ты заостенел, вражи-ина!

– Ба, а почему у нас в палисаднике так мало сирени осталось? – спросил Гена.

– Пришёл, внучек? – ласково сказала бабушка, обратив скуластое лицо к внучку. – Что ты спрашиваешь, милай?

– Сирень пропала, бабушка?

– Комари, – ответила Клавдия Матвеевна, перекрестив зевающий рот. – Комари заели, велись там у листьях. Я сказала Ваське Кривому, чтоб повырубил...

Комары досаждали старушкам и бабам, которые вечерами собирались на лавочке, и Клавдия Матвеевна позаботилась об удобстве своей публики. Ещё Васька Кривой по настоянию Клавдии Матвеевны за гранёный стакан растирки на девясиле вкопал два пенька, сколотив крепкую дополнительную лавочку. Так что теперь послушать суждения Клавдии Матвеевны о том, чем и как живёт деревня, сходились бабы даже с соседних улиц. Почти каждый вечер проходили бенефисы Клавдии Матвеевны. И без того железный авторитет старушки укрепила заметка в районной газете. Корреспондентка написала о Клавдии Матвеевне как о хранительнице традиций. Дело в том, что у неё полна скрыня старинных сарафанов, рушников, доставшихся как приданое ещё от матери. И если некоторые другие простодушные старуш-

ки продали вещи старины за бесценок хитроумным скупщикам или же раздали настойчивым жадным родичам, которые всё продали тем же скупщикам, то Клавдия Матвеевна бережно хранила семейные реликвии.

Гена ничего не сказал, он молча разделся и лёг в кровать, утонув в пышной перине, отдающей старьём. Вскоре в избе воцарилась тишина. Свет луны, разделённый оконной рамой на четыре части, квадратно лежал на полу. За окном кричал сверчок. Тикали настенные часы марки «Янтарь», купленные ещё покойным Иван Тихоновичем. Над избой тянулся Млечный путь. Луна сеяла серебро на далёкие холмы за рекой, на которых раскинулся лес. В этих угрюмых холмах как-то особенно лунными тихими ночами чувствовались века и равнодушие к человеческой жизни со всеми её страстями. Пройдут сотни лет, умрут миллионы людей, погибнут от времени дубы-великаны, а эти холмы будут лежать также непоколебимо и, возможно, хранить тайну, известную только им.

Безмятежно сопел Женя. Гена не спал. Он думал – почему взрослые вырубают сирень, ругаются, ненавидят, взрывают церкви?.. Гена когда-то видел по телевизору и почему-то запомнил хронику, как содрогнувшись, в клубах густой пыли тяжело рухнул, сотрясая землю, храм Христа Спасителя.

«Взрослые разные бывают, – думал мальчик. – Мой папа самолёты строит, есть – книги сочиняют. А есть такие, кто всё разрушают, почему так бывает?»

Гена лежал с открытыми глазами, слушал сверчка. Он ещё

не знал, что в жизни ему предстоит сделать много открытий, познать счастье и горе... и как сложится его дальнейшая жизнь, жизнь его брата – он, конечно, не знал.

На следующее утро к Клавдии Матвеевне нагрянул её кум – Николай Егорович, – умелый печник, в прошлом артист самодеятельности. Он заявился шумно, громко разговаривал, выпил стакан водки, который любезно преподнесла Клавдия Матвеевна. Пришёл Николай Егорович класть в летней кухне новую печь – старая разодралась по трещинам, и её разобрали по кирпичам. Наверное, в каждой усадьбе деревни крепко стояла печь, сложенная руками старика.

– Жизнь и счастье начинаются с печки русской, оно хучь и газ ужо подведён, но рушить печку дело последнее, – с неподдельной верой в сказанное говаривал старик.

Словоохотливым он был, особенно, если работа спорилась.

– Я у вашем возрасти, – говорил мальчикам раскрасневшийся от выпитого Николай Егорович. – Ужо прочитал «Тихий Дон» и «Всадник без головы», вот как!

– Дедушка, а оно мистическое? – спрашивал Женя, он любил читать книги. На летние каникулы мама взяла ему в библиотеке «Дон Кихот» и «Белый Бим чёрное ухо».

– Ага, юмористическое! – согласно кричал Николай Егорович. – Но «Тихий Дон» (старик стиснул вставные челюсти и сжал кулаки) – это Шолохов, это – народная кровь!

На груди у Николая Егоровича хвастливо поблескивала

медаль. Работал он умело, но и хвалился много. Рассказывал, как заслужил трудовую медаль, как ездил в составе коллектива народной песни на конкурс за рубеж, как его – красавца в полотняной рубахе – снимало телевидение главного канала дружественной социалистической республики. Кричал, размахивал руками, мотался по двору выцветший фартук опытного печника. И если эта беготня раздражала Мухтара, и он начинал лаять, то Николай Егорович, по-хозяйски снисходительно приговаривал:

– Мухта-ар, не узнал дедушку, дурачок! А ну-ка, ребятки, подавай мне кирпич!

После ещё двух стаканов Николай Егорович отправил Гену и Женю отдыхать в избу – жарко работать, а сам позвал Клавдию Матвеевну и вкрадчиво ей сказал:

– Кума, сходи-кась, позови Маньку Климкину (соседку), скажи, что Николашка её кличет...

Николай Егорович давно крутил с замужней Манькой (вместе ездили на конкурс) преступную любовь. Был позор, битьё окон. Но полюбили они друг друга задолго до самостоятельности. Николай ушёл в армию на три года, а Мария не дождалась... не то, чтобы не дождалась. Вот, что она как-то сокровенно поведала Клавдии Матвеевне:

– Родители мои не хотели, чтобы я за Кольку шла, голытьба, говорили, жрать нечего, а у Тимохиных три коровы было. Покорила я бедная, молодая чужой воле... так и прожила, как у чужой рубахе...

По истечении многих лет Николай Егорович, находившийся со своей бабушкой в долговременном раздоре – лет десять не разговаривали, бабушка занимала избу, а Николай Егорович – кирпичную летнюю кухню с русской печью, часто думал, что только Маньку Климкину и любил... Какая могла быть жизнь, если бы дождалась Манька своего Николашку! И сейчас на старости Николай Егорович часто размышлял о том, есть ли в жизни счастье? И почему в жизни что-то да не так... Не давали эти мысли покоя, осаждали исполненными старческой бессонницей ночами... После выпитого в старом печнике проснулся тот давнишний Николашка, и алым степным маком расцвели воспоминания о былом.

– Да ты чи избесился, кум? – изумилась Клавдия Матвеевна, в испуге замахав большими руками.

– Покличь, вы ж с ей в подругах, – не унимался «жених». – Мы только погутарим с ей в кухоньке и всё. Покли-ичь... мы ж с ей живём, как птицы в клетках, погутарим и всё, хучь повспоминаем...

Клавдия Матвеевна в нерешительности почему-то направилась к калитке, ведущей на огород. Вернувшись, постояла посреди двора, подумала и отправилась звать Маньку. Усадьбы располагались по соседству. Муж Маньки – Тимофей Лукич, нервный старик, в прошлом нещадно лупивший жену за неистребимую любовь к Николашке, и зарезавший в порыве ревности и гнева дворовую собаку, работал вилами в саду – ворочал сухую скошенную траву. Клавдия Матвеевна

на опыте решила во избежание подозрений, чтобы Лукич не спохватился – куда тайком ушла его бабка, и, будучи человеком прямым – задумала сделать так: она подошла к штакетнику и окликнула Тимофея, взявшись руками за штакетины:

– Тимох, а Тимох!

– Что, Клавдия?

– Да там Николашка Ситкин Манькю клича, он мне печь кладет, хочить, чтобы Манькя ему помогла глину месить! И боле ничего-о! Ничё ты не думай такого!

Хорошо, что Николай Егорович подслушал этот разговор, иначе – быть беде. Яростный Тимофей Лукич с вилами мог его настигнуть. Николай Егорович в фартуке, насколько хватало прыти, бежал огородами, проклиная и Клавдию Матвеевну, и Тимофея, и бахчу, цепкие руки которой хватали печника за хромовые сапоги. Лукич, страдающий одышкой, безнадёжно отстал и, извергаясь ругательствами, свирепо тряс в воздухе вилами, зубцы которых сияли в лучах солнца. Казалось, что это пылает на концах острых зубцов лютая ненависть. Опомнившись на своём дворе, Николай Егорович перевёл дух и в первую очередь удостоверился – не потерял ли, грешным делом, на огородах медаль? Погладив жёлтенькую кругленькую дорогую железочку, Николай Егорович сел на лавочке и, трясущимися руками сворачивая сигарку, заругался:

– Вот же дубовая голова! Клавдия Матвеевна... Вот же дунду-ук! Ишо советы раздаёт. Мог же этот круженный киш-

ки мне выпустить где-нибудь у кукурузе. Говорили б потом внучата Клавкины у городе папке-конструктору: дедушку Колю, с медалями, когда он пришёл нам печур очку сложить, у бурьянах вилами закололи... Господь Вседержитель!

У Николая Егоровича задрожал подбородок, и покатались слёзы. Ему было жаль и себя, и почему-то Гену и Женю. Но почему? Старик долго сидел на лавочке наедине со своими мыслями, а потом взял тяжёлый молот и назло своей ненавистной старухе, которая изредка пекла хлеб в русской печи (в его кухоньке), стал ломать печь-кормилицу. Бухал молотом в иступлении. По морщинистой щеке бежала солёная слеза. Пахло пылью, трудно было дышать. Старик распахнул окно, чтобы выбрасывать битые кирпичи на улицу. Мимо проходил его племянник – сельский учитель Пётр Иванович. Он направлялся к приятелю, неся в пакете жареную утку и бутылку водки. Дома выпивать запрещала надменная невестка, которая целыми днями только и делала, что читала гламурные журналы, которые покупала в городе. Когда половинка красного кирпича попала учителю в бок, он отскочил от беспокойного окна:

– У-у-у, дядь, ты там что ль стройку затеял?

– Затеял, – показалось в окне обиженное лицо Николая Егоровича, – скоро и ты затеешь...

Торопившийся Пётр Иванович не придал значения пророчеству и направился вдоль по улице, а Николай Егорович ещё долго сидел в кухоньке в пыли, среди разрухи, запустив

короткие толстые пальцы в редкие седые волосы.

Отпуск на грани

Искусственная ёлочка сияет в сказочно-праздничном полумраке, и вдруг в памяти вырастает высокая, под два метра, ель с маленькими, словно декоративными шишками. Запах смолы обитал в квартире и после того, как проходил старый Новый год, и отец тащил ёлку, пережившую свой звёздный час, на мусорку. Я и мама с печальным чувством собирали на полу пожелтевшие хвоинки. Это было последнее, что оставалось от долгожданного праздника. Отец называл мусорку в конце января «братской могилой ёлок». С тех пор мы каждый Новый год наряжаем искусственную...

...А всё начиналось очень хорошо! В начале августа 2024-го я взял отпуск после одиннадцати месяцев работы без отгулов и больничных. Эти три многообещающих недели решил провести в родном посёлке Ракитное за чтением и рыбалкой, с твёрдым намерением что-то написать. У нас в посёлке есть уникальный Юсуповский парк, в котором растут толстые, в несколько обхватов вяза, наверное, посаженные самими князьями Юсуповыми. Их дворец и поныне крепко стоит на возвышении и притягивает туристов со всей России. Парк раскинулся на холмах, а между ними, внизу лежат три пруда. Некоторые несведущие ракитянцы называют их техническими, мол, эти пруды появились вместе с Арматурным заводом, но на самом деле пруды были здесь задол-

го до основания предприятия. По берегам гуляли представители знатного рода, слышался смех, и, наверное, страстные признания, а в воду гляделись величавые лебеди. На одном из прудов Юсупов разрешал мужикам удить рыбу. Мне кажется, что у каждого пруда свой характер. Первый – зловещий, угрюмый, с глубинами до 9-ти метров, с холодными родниками. Его чёрные воды приняли не одну несчастную душу... На обрывистых берегах, как чуткие стражи, стоят дубы и вязы. Второй – мелкий, летом вода в нём зелёная, стерегут его покой молчаливые ракиты, а третий – лучшее место, где можно порыбачить. В водах этого пруда отражаются берёзки и старые, дикие яблони.

После поплавочной удочки и спиннинга я осваивал новый вид ловли – на донку, собрав одну снасть, на которую сразу удалось поймать леща на 1.5 кило. Сей факт вызвал волну доброй зависти среди местных доночников, в числе которых я был самым молодым.

– Ты глянь – какой бронзовенький! – мечтательно вздыхал один из завсегдатаев пруда, рассматривая фотографию леща в моём смартфоне. Этот человек, в возрасте за сорок, страдал сахарным диабетом, сидел на инсулине, и у него быстро садилось зрение, поэтому разглядеть он мог лишь сигнализаторы поклёвки, похожие на чупачупс, которые висели на леске возле ног. Потому ловил на донку.

– Да, ученик должен превзойти учителя! – не без напускной гордости сказал мужик. У него было три дочери, в кото-

рых он души не чаял, но при этом был о женщинах невысокого мнения и без устали рассказывал непристойные анекдоты, которые я не слушал.

И я у него ничему не учился. Однажды, спешно сматывая свои донки и торопясь куда-то по срочному делу, о котором напомнил внезапный телефонный звонок, он отдал мне пшённую кашу с чесноком – лучшую прикормку для ловли леща. Вот и вся учёба.

Если на его место кто-то садился, с принуждённой улыбкой и укором он говорил:

– Та-а-ак, а кто это мне прогул поставил!?

Больше остальных страдал от «прогулов» пенсионер Виктор Иванович, у которого был свой, сколоченный лет пять назад, мосток. Старику удавалось ловить с него карпов на десять кило и амуров – на восемь. Утомительное вываживание амура мне довелось увидеть. Мосток Виктора Ивановича располагается как раз напротив моего излюбленного места. Обычно он приходит на рыбалку рано утром, часов в пять, когда над прудом курится густой туман, застилающий берег. В тумане бьёт крупная рыба. В разрывы тумана видно, как Виктор Иванович катит велосипед, к раме примотан проволокой большой подсак, за спиной – рюкзак камуфляжного цвета, из которого торчат собранные донки. Рядом плетётся старый чёрный пёс. Виктор Иванович неторопливо, с расстановкой «заряжает» и раскидывает донки, на ветке висит китайский приёмник, звучит радио «Русь». В ожидании своего

трофея он потягивает кофе из термоса, а чёрный пёс преданно глядит на него. Однажды я видел, как вихрем, что распахнулись полы заношенного бушлата, нёсся Виктор Иванович на велосипеде под звуки сирены ракетной опасности к своему мостку, на котором, к его горькому удивлению, уже кто-то нагло расселся.

...В начале августа 24-го ракетная опасность звучала постоянно, а 6-го числа всушники и наёмники вторглись в Курскую область и захватили Суджу и окрестные деревни. В то утро я в интернет не выходил, новости не читал, взял снасти и отправился на пруд. Было как-то особенно тревожно, несмотря на то, что Белгородская область, считай, с самого начала спецоперации живёт в перманентном кошмаре, слышать непрекращающийся грохот вдали. Если по прямой, то бои шли километрах в тридцати от посёлка. Ночами наши тягачи с танками всё шли и шли в обход Ракитного в курское приграничье. Мои знакомые, чей дом располагается на отшибе, как раз у окружной трассы, не спали ночей, вслушивались в низкий, идущий, словно из-под земли тяжёлый гул, вглядывались в ночную мглу – наши? А может... В бесконечности августовского неба сияли бесчисленные, равнодушные к людскому страданию звёзды. У многих документы, сбережения, самые необходимые вещи были собраны. Сумки стояли в прихожих на случай, если придётся покинуть квартиры и дома. Люди жили в ожидании чего-то страшного, готовые в любой момент оставить всю прежнюю жизнь...

Одним утром, когда вдали непрерывно грохотало, на пруду рыбачили только двое – я и отец трёх дочерей. Вдруг у дамбы, разделяющей два пруда, остановился «УАЗ – Патриот» военной полиции. К нам направились трое вооружённых бойцов, которые вежливо поинтересовались, не слышали ли мы автоматную стрельбу? Взгляды у них были острые, чувствовалось напряжение. Они проследовали вдоль берега и растворились в густой растительности. Отец трёх дочерей торопливо смотал донки...

В ночь на 12-е маме позвонила подруга:

– Собирайтесь! Нацики обстреляли больницу! Мы едем в Белгород! – кричала она в трубку. Это было похоже на истерику.

– Какую больницу, где?

– Собирайтесь, ох, Господи!

В мою комнату зашёл отец и сказал, что видел некоторое время назад, как небо пересекли несколько огненных шаров. Я вскочил в шорты, выбежал на улицу, где стояла наша машина. Я вслушивался, но не слышал стрельбы. Мой обострившийся слух выхватил равномерный гул машин где-то на Пролетарской – центральной улице посёлка. Жители Краснояружского района спешно покидали свои дома, устремлялись в сторону Белгорода. К этому, словно горная река, потоку примешивались сотни автомобилей. Люди бежали из Ракитного и прилегающих населённых пунктов. Поток машин тянулся к областному центру. Около двух часов ночи

я включил ноутбук. Интернет шумел, словно море в ураган. Официальные источники призывали не поддаваться панике, писали, что всушники пытаются прорваться в Белгородскую область, что ситуация хоть и тяжёлая, но контролируемая. Украинские каналы «разгоняли» отчаяние, делали вброс за вбросом, и можно было подумать, что в Колотиловке и Красной Яруге – вражеские танки. На дорогах царила неразбериха, произошло несколько ДТП, в том числе смертельных... Семья маминой подруги ночевала в автомобиле у моста на Болховце (на въезде в Белгород). Вдоль трассы стояли машины.

В центре посёлка был развёрнут пункт распределения, из которого жители Краснояружского района отправлялись в пункты временного размещения. Тысячи людей покинули свои дома. Над Ракитным пролетали ударными группами боевые вертолёт, которые несли свои ракеты туда, где шли ожесточённые бои. Наш подъезд опустел. Отправившись за хлебом, я увидел, как по центральной улице проезжал БТР-82 с дополнительной защитой, на броне сидел солдат с автоматом, в бронеке, по всей видимости – бурят или якут. К вечеру и мы, захватив всё необходимое, уехали в деревню. Пробыли здесь неделю. В один из дней я взял спиннинг и отправился на реку. Перешёл ветхий мосток, под которым неторопливо Пена неслла свои мелкие, прогретые сильным солнцем воды. Русло реки размыто, в том числе по вине невежественных людей, в трёх местах, и воды уходит

больше, чем поступает. Поэтому мне пришлось перейти на другой берег, уже, стало быть, в Ивнянский район, где река чуть глубже. Местные зовут этот участок акватории рвом. Здесь стоит сладко-приторный запах разнотравья, о чём-то перешёптываются высокие камыши, сгрудились в задумчивости вербы. Утром отец с настороженностью и волнением рассказал, что на рассвете слышал странное жужжание.

– Смотри, если что, прячься в заросли, – провожая, напутствовал родитель. – Может, их диверсанты по лесам шастают.

В тишине первозданной природы, где приторно пахнут травы, и клокочет в водоворотах вода во рву, где-то над вербами я услышал отдалённое жужжание. Станный звук приближался, когда я выходил на открытую местность. Я укрылся в зарослях.

Возвращаясь без улова, на мостке, когда до противоположного берега оставалось метров двадцать, я вновь услышал приближающееся жужжание. Вдруг раздался сильный хлопок, мелкая рыбёшка, словно по команде, бросилась врассыпную, оставляя круги. В вышине, метрах в пятидесяти от меня расплывалось серое облачко, к которому тянулся тонкий, извилистый след ракеты...

Странное дело, только спустя некоторое время я постиг ужас того, что могло бы случиться... Жаль, что я не знаю имён бойцов из расчёта ПВО. Храни и помогай им Господь!

Наверное, ночь на 25-е августа выдалась для моего родно-

го посёлка самой страшной со времён Великой Отечественной... Примерно в полночь тишину с треском расколол первый взрыв, минут через 15-ть противник ударил повторно. Несущие смерть боеприпасы разорвались там, где от пылающего вне времени Вечного огня дорога спускается вниз и поднимается вверх, к Свято-Никольскому храму. Пять человек погибли, был повреждён газопровод, огонь полыхал во тьме.

Утром я всем существом проникся тем, что в книгах зовётся гнетущей тишиной. Тишина, отзывающаяся в душе чувством обречённости, нависла над Ракитным. Пустынные улицы. Спуск от Вечного огня перекрыли «Камазом», поперёк тротуара были растянуты оградительные ленты. Суровые солдаты в полной боевой экипировке, с автоматами, таинственного вида сотрудники Следственного комитета. Кажалось, что всё произошедшее – это кошмарный сон, но это была явь.

В числе жертв террористического удара был дядя Саша, который много лет назад подарил ту последнюю живую ёлку. Верю, что и в мире ином он такой же добрый и улыбчивый, верю, что впереди нас ждёт ещё один День Победы...

30.12.2024

Витюша

Жил Витюша бобылём. Встречаются на белом свете люди, которым судьба со всех сторон вставила клинья – ни здоровья, ни таланта, ни хитрости, чтобы устроиться сыто и удобно в жизни. Только живи и терпи все невзгоды, покуда хребет не треснет... Его мать умерла давно. Это была, пожалуй, единственная женщина, которая относилась к нему с любовью и состраданием. Витюша поздно научился говорить, и то с матюков начал. В деревне рассказывали, что когда крестили его лет в шесть, то он испуганно кричал на изумлённого подвыпившего попа:

– Сволочь, утопишь!

Лет до сорока жил Витюша вдвоём с отцом, Афанасием Гаврилычем, бывшим продавцом сельмага, известным по молодости своей жадностью: прятал в сарае в слежавшееся сено банки с тушёнкой и ивасями, чтобы жене и детям не достались. А когда умерла жена, прозрел, осознав ответственность за судьбу неблагополучного младшего сына. Старшие-то дети давно разъехались, жили в городе. Афанасий Гаврилыч придумал себе занятие на старости – взялся писать историю колхоза, который развалился лет десять назад, а земли его отошли во владение агрохолдинга, да вести учёт мёртвых душ: записывал, кто из односельчан и когда отошёл в мир иной. Некоторые старики приходили к нему.

Просили заглянуть в красную записную книжку, дивились на имена и даты и, восхитившись каллиграфическим, кудрявым почерком Афанасия Гаврилыча, наказывали, чтобы он их не забыл, когда придёт час. В день смерти Афанасия Гаврилыча Витюша корявенько внёс в отцовскую книжечку последние сведения... А когда старший брат и сестра после похорон уехали, плакал, зажав рот заскорузлой ладонью с грязными ногтями, под которыми чернела кладбищенская земля. Старушки, жившие по соседству, поджаливали Витюшу. Но большую заботу проявляла бабка Мотя – отдавала сироте помутневшие солёные огурцы в банках или сигареты, забытые приезжающими в гости сыновьями. Витюша ценил доброту, однако разок бабку обсчитал на сто шестнадцать рублей, когда пошёл на почту заплатить за газ, воду и электроэнергию себе и заодно бабке. Купил сигарет. Это вскоре забылось.

Стараниями брата дали сироте третью группу. Когда-то давно, когда Витюша работал в колхозе скотником, его на рогах поносил племенной бык, травмировал ему ногу и голову. После этого несколько раз с несчастным случались приступы эпилепсии. Врачи запрещали пить, но Витюша прикладывался к бутылке. Играл с мужиками в карты, проигрывал, за что получал «на погоны» щелки по лысине, ну и, конечно, прихрамывая, бегал «на точку». В глубине души он презирал собутыльников. Любил общаться с детьми или со стариками, то есть с теми, кто не мог его обидеть.

С детьми Витюша легко находил общий язык. Например, разговор начинался так:

– Жень, июль-ку – самый тёплый месяц по погодным условиям!

Летом на лугу детвора гоняла в футбол. Издали на эту забаву с любопытством поглядывали из разлатого гнезда молодые аисты. Среди играющих выделялась сутуловатая высокая фигура Витюши, который, прихрамывая, самозабвенно гонял резиновый мяч, крича:

– А-ну давай, давай на меня, пасуй, пасуй!

Хитрые на выдумку и острые на язык деревенские мужики дали Витюше прозвище Гарринча.

Зимой Витюша захворал. Рассказывал, что в горле свербит, в груди болит. По ночам боялся спать, потому что, как ему казалось, на чердаке кто-то зловеще вздыхал, ходил и стучал. Иногда страх был настолько силён, что не давал сомкнуть глаз, но, когда перед утром в окна через занавески из плотной жёлтой ткани пробивался мутный свет нового дня, ночные мороки растворялись и неохотно покидали жилище Витюши до вечера... Бывал он у брата в городе, но недолго. Брат боялся жену, а она с пренебрежением относилась к приежнему родственнику, потому что он редко мылся и разговаривал по-деревенски – «куды», «сюды». Дошло до того, что обедать брат водил Витюшу в столовую на В-ском бульваре. Витюша боялся города, шумных улиц. Белокаменный монастырь с собором, у ограды которого сидели на холодном се-

ром тротуаре нищие, окружали высотные новостройки из бетона и стекла. Сирота оглядывался на оборванных нищих и про себя удивлялся, что среди них есть ещё молодые мужчины и женщины. А когда увидел старика с разодранной штаниной, с виднеющейся раздутой от гангрены бордовой с чёрными пятнами голенью, ему стало дурно.

Приезжий боязливо поглядывал на городских, смущаясь, тихо, невнятно, что его переспрашивали, говорил женщинам на раздаче, что ему положить, а когда ел, то втягивал голову в плечи, словно боясь щелка по лысине, и глядел в тарелку. Он чувствовал себя лишним.

– Поезжай-ка ты, Витёк, домой, – сказал брат, когда возвращались из столовой. – Пожил недельку и хватит. У тебя там дом. Ну что ты будешь ютиться в нашей квартире? В доме-то лучше. Я б и сам в деревню перебрался, на простор, только работа не даёт.

– Ютиться, – ворчал Витюша. Он считал, что лучше терпеть пренебрежение невестки, чем жить одному. – У тебя ж три комнаты, дочка с мужиком отдельно живут.

– Нет, Витёк, ну какая жизнь в городе? Шум, гам, нервные все. Поезжай.

– И поеду-ку, чтобы меня не стеснялся, – обиделся Витюша. – Идите вы знаете куда! Я ж не виноват, что никому не нужен.

– Ну почему ж не нужен. Мы тебя в санаторий определим.

– В санаторий? Какой санаторий? Куды?

– Да в хороший, тут недалеко. Будут за тобой ухаживать. Может, найдёшь там себе бабу. А то сколько можно одному-то, ну?

...Вторую подряд зиму отправляли сироту не в санаторий, а в городскую больницу недели на три. Было там несколько палат, отведённых для бомжей и прочих горемык. Когда за Витюшей приезжала «буханка» с красным крестом, провожать сходились бабки, живущие по соседству. Витюша, убитый горем, словно его увозили на заклание, растерянно глядел на старух, произносивших тоскливые речи, что даже водитель «буханки» доставал сигарету и задумчиво курил, а молодая медсестра для приличия не поспешала.

– Баб, вы тут следите, не забывайте, – мямлил сирота, влезая на подножку машины, оглянувшись. – Баб, вы тут глядите, чтоб не растащили.

– Мы будем глядеть, не волнуйси.

Витюша был в драной шапке-ушанке, в старой братовой шинели не по размеру, в которой тот пришёл из армии, мешками битом молюю красном шарфу, в дутьшах на синтепоне и держал в руке облезлую сумку с вещами. О чём он думал, глядя в окно машины на занесённые снегом белые поля, голые чёрные деревья лесополос? Бог его знает.

...Февраль лютовал и ковал доспехи для последней битвы с весной. В печной трубе завывала выюга. На окнах между миром свирепой зимы, жить которой осталось недолго, и натопленным мирком людей сплелись на стекле хрустальные

узоры. Бабка Мотя варила суп. В тесной кухоньке пахло луком и морковью. Во вторник бабка никого в гости не ждала. Вдруг раздался лай дворового пса и стукнули двери в сенях. В зеркале отразилась облепленная снегом фигура с вещевой сумкой. Это вернулся Витюша, принеся с собой морозного воздуха. Попросился ненадолго, потому что в его доме полопались батареи. Бабка налила гостю горячего супу.

– Баб, а можно я ишо посижу? – робко попросил он.

– Да сиди, сиди, – ответила бабка, обрадовавшаяся, что помогает в нелёгкую минуту.

Насидевшись, гость спросил разрешения прилечь в зале на диван. Сердобольная бабка Мотя достала из скрыни новое тёплое одеяло с вышитыми розами, которое ей в подарок на День Победы привёз в красивом пакете глава сельской администрации. Витюша освоился – включил телевизор. Посмотрели с бабкой, сидевшей с благодушным видом рядом на стуле, передачу про женитьбу, и от сытости и тепла его разморило. Спал так, как не спал давно, а выспавшись, попросил вечерять. Бабка пожарила картошку и доверила Витюше ключ от погреба, где он выбрал себе понравившуюся банку помидоров.

Прошёл день, второй. К бабке пришла соседка Настя, Витюшина ровесница, которая на похоронах Афанасия Гаврилыча задумалась во время отпевания и свечкой подожгла стоящему впереди деду рубаху. Дед встрепнулся, прервав молитвы священника трёхэтажным матом, но обошлось –

люди потушили. С тех пор дед возненавидел Настю за то, что односельчане с её-то подачи дали ему прозвище Каскадёр.

– Витька, тот вон, – пыталась сформулировать претензию недалёкая Настя. – Что ты, тот вон, лежишь? Шёл бы, тот вон, хату растоплять, а то, тот вон, приютился у бабки, тот тебя вон!

– Иди к ядрёни мать! – рассердился Витюша, подхватившись с дивана. – Я не у тебя приютился! Тебе какое дело? Растоплять... Там трубам хана.

К вечеру пришла бабка Глаша:

– Витька, ты что ль у бабки ишо?

Витюша что-то недовольно пробурчал из-под одеяла с розами. Бабка Мотя была не против, чтобы гостя уже как-нибудь отправили домой, потому молчала.

– Витька, бессовестные твои глаза! – наседала старушка. – Ишо и телевизир включил. Обещались злыдни на три дня, а остались на усю жись!

Из-под одеяла высунулась лысина и посыпались, как из мешка, ругательства. Гнала, гнала бабка Глаша – не выгнала. Вскоре пожаловал старик Николай Фёдорович – ветеран труда. Наверное, бабки подбили. Пришёл важный, снял в сенях пальто с каракулевым воротником, вошёл в комнату, тонко позванивая медалями на груди. В общем, выгнал Витюшу. Задавил авторитетом.

На улице ворочалась колкая мгла. В небе робко поблескивали белые, розовые и синие огоньки звёзд. Родной дом

показалась Витюше чуждым и страшным – чёрные глазницы окон глядели зловеще, а острые сосульки волчьими клыками свисали над крыльцом. Вошёл Витюша в пустоту и холод нетопленного жилища и закручинился. И, может быть, впервые задумался о своей жизни: такой же унылой, как остывший отчий дом. Вспомнилась ему мать, и так на душе стало тяжело, хоть сейчас ступай на кладбище и ложись. Лёг Витюша в одежде на продавленный диван, укрылся с головой одеялом, пахнувшим мышами. Проснулся в тревоге поздней ночью, когда от мороза трещал неподалёку на реке лёд. Однако разбудил его не треск, а что-то неведомое, что давно уже следует за ним, и что он впервые увидел внутренним взором. Витюше казалось, что вся тоска, боль, какие возможны в природе, окружили его. На чердаке кто-то ходил, как раньше... С реки доносился треск, река словно вздыхала... Витюша лежал под одеялом, сомкнув веки. Перед утром увидел свою мать, которая звала его в даль, залитую светом...

Пришла весна. Солнце пригревало, по улицам заговорили ручьи. Тощие петухи перекликались по деревне. Над лесом за рекой стояла мутноватая дымка. Прилетели грачи. Началась та добродушная, весёлая суета, возможная только весной. Воздух мягок, пахло талой водой. И в жизни Витюши наступили долгожданные перемены – жена брата сменила пренебрежение на милость. Родственники приехали с хорошей вестью – решили продать дом в деревне за четыреста тысяч и забрать Витюшу в город, где он будет жить в одной

из трёх комнат, как кум королю. Потепление в отношениях имело под собой почву: брат с невесткой задумали сдать старую машину в автосалон, а для доплаты на новую денег не хватало. Сирота не соглашался, помня недоброе отношение невестки и подкаблучника брата. Уехали, но стали чаще навещать родственника, привозили гостинца – то колбасы, то пирогов домашних с повидлом. Прошло лето, на опавших листьях засеребрился иней. Приближалась зима...

«Ну а что, – прикидывал в сомнении Витюша. – Пусть продают. Всё-таки четыреста тысяч... Где они их возмрут-то? А тут я им вроде бы подарил. Не будут же они меня опосля этого притеснять?»

В середине ноября простился Витюша с бабками навсегда. Когда на старой машине брата отъезжали от родительского дома, объявление о продаже которого уже читали в районке, бросил печальный взгляд назад и, как от невыносимой боли, сомкнул веки. Во внутреннем кармане поношенной куртки с испорченной молнией лежала красная записная книжечка Афанасия Гаврилыча.

Когда был школьником, это со мной Витюша гонял футбол на лугу. Учась в университете, я приезжал на каникулы в деревню, и Витюша встречал меня, словно дорогого человека, расспрашивал про учёбу с важным видом, хотя без ошибок не смог бы написать слово «университет». Встретил его в городе случайно. На улице. Витюша был опрятно одет. Но что-то не так. Спрашивал про мою бабушку, передавал ей

привет, а когда простились, шёл, как тень, следом, точно силась сказать нечто важное, и сказал:

– Забери меня отсюда.

В ответ на моё недоумение Витюша добавил, блестя глазами:

– Не могу я с ними, нету мочи моей боле... Забери!

– Ну, куда я тебя заберу?

Я спешил. Подойдя к автобусной остановке, обернулся: Витюша стоял потерянный посреди тротуара, над ним возвышались многоэтажки, за которые закатывалось красное холодное зимнее солнце.

Где наше лето?

Это была моя первая поездка на море, которая что-то изменила во мне. Подобно тому, как восходящее солнце преобразует море. Не Крым, не Сочи, а небольшой портовый город Бердянск, обнявший азовский берег. Дядя мой Михаил Иванович, с которым и отправились в долгожданную поездку, в описываемое время работал главным агрономом фермерского хозяйства. Директор, расчётливый, хитрый делец, с жилплощадью за границей, платил большинству работников – местным аборигенам, прозванным дядей «анчоусами» – сущие копейки, но деваться им было некуда. Приходилось горбатиться на хозяина, пока вперёд ногами не вынесут за железные ворота фермерского хозяйства. Перспектив в провинции никаких – сахарный завод в руинах, глядит на мир глазницами битых окон, от колхоза остались остовы коровников, словно скелеты доисторических гигантов. Местные, кто пошустрее, уезжали на заработки, чтобы в «просвещённой» Европе вычищать нужники.

Семейная жизнь у дяди не сложилась, но в женщинах он не разочаровался. Для бабушки личная жизнь сына скрывалась за ширмой тайн. В летнюю пору он часто дома не ночевал. Не отпускали дядю ночи страды, держали сильными руками, глядели на раннюю лысину стозвёздными очами... Он рассказывал бабушке, что работали допоздна и ночевать

пришлось в неудобстве с «анчоусами» в старом вагончике в чистом поле. Дремали под июльским звёздным небом комбайны, быть может, дремал и дядя с «анчоусами» под железной крышей вагончика. Кто знает – где он дремал и дремал ли вообще? Кричали сверчки, темноту пронизывали ночные бабочки с покрытыми жирной пылью крыльями. Подчас, видимые части невидимого целого по случайности попадались бабушке на глаза. Как-то припозднившейся весной мы с бабушкой сажали лук. На мне была дядина серая куртка, в карман которой бабушка насыпала сеянки про запас. С яблонь, робко выпустившей молодые листочки, поглядывала на нас синичка, перекаывая в горлышке хрустальные шарики: – Сюить, сюить...

Проплывали курчавые облака с синими днищами. Громадные тени бежали к лесу, уползали за реку, за горизонт, наверное, туда, где лежит тьма вечная... Дул холодный, пронизывающий ветер, но в затишке солнце пригревало уже повесенному. Когда в пакете у бабушки сеянка закончилась, она запустила узловатую руку с почерневшими от земли ногтями в карман дядиной куртки. И вместе с сеянкой вытащила презерватив... Бабушка обомлела. Неловкость и жгучее недоумение застыли в свежем весеннем воздухе.

– Это не моё! – замахал я руками.

Вечером после работы дядя, развалившись на диване, смотрел по телевизору мелодраму. Бабушка, человек волевой и решительный, почему-то с виноватым видом пододви-

нула стул и завела разговор, с напряжением глядя на узорчатую ковровую дорожку и пожимая от волнения руки:

– Миша, ну, если она жиночка хороша, работяща, то приводь ей до нас, будем яко-сь вместе крутиться...

– Мама, Вы хотите ещё малость пожить?

– Шо-о-о? Ще якась шлѣндра прыйдэ та будэ мэнэ притеснять? Та я ей сама-а-а со свиту сжив-у-у!

...Лежал я на том же диване, смотрел по телевизору сериал.

– Женичѣк, ты телевизор смотришь? – благостно поинтересовалась из своей комнаты бабушка.

– Смотрю, бабушка.

– Да выключи ты его к чѣртовой матери, – громко, но всё же благостно сказала бабушка. – Иды лучше к бабушке, бабушка тоби казочку расскажет про дядю твоего ридного... Иды, иды, детка.

Я вошёл в комнату. Пахло травяным чаем, в углу белело старинное распятие из слоновой кости, над кроватью вознеслась фотография бабушки и покойного деда.

– Садись, садись на стульчик, детка, я тоби казочку расскажу. Появилась у твоего дяди якась лярва! Как телефон звонит, он с ним ховається от матери ридной...

Теперь я знаю, от кого унаследовал тягу к сочинительству.

...В Бердянск приехали ранним утром, когда большое солнце из недосыгаемой глубины неторопливо, величественно восходит над горизонтом, когда море задумчиво поёт ста-

рую песню. И, если вслушаться, сбросив пути гнетущих мыслей, позабыв о тревогах, то как бы случайно почувствуешь, как в глубине души шевельнётся тоненький росток, связывающий жизнь с вечностью... В утренние часы, когда закрыто большинство заведений, народу на пляже мало. Мёртвый пляж. Озорной ветер гоняет по набережной пакеты, стаканчики одноразовые. Море шумит в дремоте, волны лижут бетонные плиты, на которых по вечерам собираются парочки. Лишь местный голубоглазый художник с курчавыми седыми волосами пишет карандашами портрет разнеженной дамы, за которую заплатил её спутник.

Накануне отъезда гендиректор вознаградил дядю солидной премией. По натуре Михаил Иванович был профессионалом до нутра. Прижимистый, он считал каждую копейку. Одевался просто. Носил, спустив ремень под выпячивающийся живот, брюки классического покроя, вышедшие из моды тупоносые туфли, выгоревшую под летним солнцем жилетку с карманами и картуз. Ох и посмеивался я над этим картузом, называя кулацким! В дядином посёлке на старом, укрытом мрачными тенями забвения погосте, отчуждившимся от нового ухоженного кладбища непролазными зарослями злой крапивы, чертополоха и лозы, затерялась могила некоего Свиридона. Свиридон погиб в 1918 году, едва встретив двадцать третью весну. Старожилы рассказывали, что сын зажиточного мужика Свиридон был смертельно ранен в перестрелке с большевиками, расстреляв обойму и утащив

двоих в мир загробных теней. Мёртвого, какого-то чужого Свиридона раздухарённые перестрелкой бойцы провезли на подводе по улицам. Память Свиридона не предали забвению приезжие родственники – поставили синий металлический памятник в форме пирамиды с чёрно-белой фотографией. На снимке – лихой Свиридон в белом картузе. И у дяди спустя практически век примерно такой же. Дядин картуз и невольное наблюдение за людьми из глубинки – неопрытными, живущими в труде за копейки, пьющими и одетыми как придётся, породжали мысль, что провинциальная жизнь старит человека раньше времени:

«Неужели дядя, которому нет ещё и сорока, если бы жил и работал, например, в Питере или в Москве, одевался бы, как старик?»

Внешне кряжистый, лысоватый, с цепким взглядом Михаил Иваныч чем-то походил на медведя. Любил меня, как сына, но ограничивал в удовольствиях юношества, вероятно, опасаясь, чтобы я не вырос человеком сытым, отупевшим от праздности. Не разделял увлечения западной рок-музыкой. Я слушал Royal Hunt, Deep Purple, Iron Maiden, Metallica и других тяжеловесов. Дядя, послушав песни этих исполнителей на моём плеере, брезгливо поморщился. Ему по душе было творчество Юрия Антонова.

Во всём Михаил Иваныч придерживался порядка. Дома, в комнате его, книги, документы – всё лежало на своих местах по полочкам и стопочками. И если, к примеру, я брал что-

нибудь почитать из художественной литературы, преимущественно русской классики, или справочников о вредителях и болезнях растений, и после прочтения ставил книгу на полку вверх тормашками, то дядя с негодующим молчанием исправлял ошибку невнимательности. Он даже укутывал мобильник в носовой платок. Но у Михаила Иваныча была и тёмная сторона – стоило выпить, как превращался он в сумасброда. В нём пробуждался вулкан срасти: неодолимо влекло к женщинам. Дядя не скупился на спиртное и закуски, рассказывал смешные, скабрёзные истории, придуманные самостоятельно. Пребывал в центре всеобщего внимания. А на следующий день бичевал себя. Мог часами лежать в постели в мучительном молчании и мысленно пересчитывать потраченные деньги.

Михаил Иваныч уверился, что «жизнь свою прожил процентов на тридцать». После института однокурсник приглашал его в Москву на успешное предприятие, но дядя не решил оставить пожилых родителей, так и прирос к посёлку, не разорвав пуповину, накрепко связывающую его с провинциальной жизнью. Руководил «анчоусами», лысел, раздавался в талии от жирных беляшей из столовой фермерского хозяйства.

– Ты понимаешь, есть мечты, устремления, книги и фильмы о том, как важно переменить судьбу, а есть обстоятельства! – несколько раз за время пути затягивал дядя свою классическую арию. В голосе звучала обречённость, и что-то

холодное, унылое прикасалось к моей душе, наверное, впервые:

«Неужели когда-нибудь и я буду укорять себя в том, что прожил жизнь свою не так, как следовало бы прожить?»

С нами прибыл его друг и коллега, главный инженер Игорь Груздинский, человек громадного роста и чудовищной тучности. В молодости, когда учился в Политехе, он занимался культуризмом. Постарев, Игорь Алексеич растолстел, и весил, как признался сам, сто пятьдесят килограммов. Он любил поговорить со мной о музыке, кино. Приехали ранним утром, когда большое солнце неторопливо и величественно, как судьба, восходит на горизонте, а море задумчиво поёт старинную песню. От вокзала к дому, где дядя заблаговременно забронировал комнату, нас на старой 24-й «Волге» подбросил таксист, которого я возненавидел за десять минут в дороге. Таксист был несусветным матершинником – рассказывая о достопримечательностях Бердянска, непрестанно вставлял в речь непотребные слова. С показным радушием встретила нас хозяйка, пенсионерка тётя Нина. Вся какая-то разлтая, на медузу похожая. Когда она показывала удобства, то из-за виноградной лозы, усеянной каплями росы, за нами с плотоядным интересом наблюдал её муж – худой, сутулый, желчный старик, презиравший постояльцев. Презирал отдыхающих за беззаботность, за то, что ему постоянно приходилось что-либо починять и опорожнять бак биотуалета. Муж хозяйки делал всё с остервенением, скре-

пя жёлтыми съеденными зубами. С остервенением орудовал молотком и пилой, с остервенением поправлял штакетник. По ночам отвязывал чёрного пса, ненавидевшего подвыпивших постояльцев. Во снах своих чёрный пёс с наслаждением вонзал жёлтые клыки в мякоть икроножной мышцы отдыхающего.

Комната нам досталась светлая, просторная. Пахло свежим бельём. На столике в вазе – гладиолусы.

– Я занимаю диван, а тебе отписываю кровать, – объяснил дядя.

Сидел я на кровати и глядел на стену перед собой, на которой красовался квадратный кусок обоев с изображёнными сказочными персонажами – Буратино, Красной шапочкой, Трубадуром. Почему-то захотелось домой к отцу и матери.

– Ну что, путешественники, обосновались? – вошёл к нам Игорь Алексеич, пригнувшись в дверном проёме. Он расположился за стеной, сложенной из ракушечника.

– А что мы будем делать? – спросил я в нерешительности.

– Как что? – басом изумился Груздинский и улыбнулся. – Пойдём купаться, студент.

– Давай, собирайся, – скомандовал дядя. – Хватит сидеть над сумкой, как на вокзале.

Никогда в жизни я не видел моря. Море волновалось. Волны у берега перемешивали песок и осколки ракушек. пляж, куда мы отправились на такси, находился на Косе, где располагалась база отдыха «Прибой». Здесь и море глубже, и

отдыхающих мало. Не сравнить с городским, замусоренным пляжем. На берегу по-турецки сидела девушка в синем купальнике и медитировала, глядя на восход. Я засмотрелся на её бёдра. Мимо прошёл Игорь Алексеич и, словно крейсер, двинулся в волны. За ним с разгона отчаянно врезался в волну дядя. Искупавшись, я сидел на песке и задумчиво глядел вдаль, туда, где, словно буёк, покачивалась голова Груздинского. Этот гигант мог колыхаться на волнах часами.

Утомившись в борьбе с волнами, дядя лежал на покрывале, положив голову на руки, а я размышлял о том, что такое это счастье быть молодым, когда вся жизнь впереди... Но для чего человек приходит в этот мир? В душе что-то неразрешимое ворочалось, искало ответов:

«Пройдёт время, не будет ни исполина Груздинского, ни дяди, ни меня, ни этой незнакомой девушки в синем купальнике. Останется солнце, море, ветер. Жизнь всё так же будет стремиться куда-то... Есть, наверное, смысл в том, что я впервые здесь? И что же изменится в мире после нас, если он не заметит нашего пребывания и нашего исхода?»

Чтобы сбросить с себя флёр печали, я настроился думать о кожаной куртке, которую мечтал купить. Наподобие такой, как носит Джеймс Хетфилд из «Металлики». Дядя знал об этом желании. Не одобрял. В кумиры рок-музыканта я не возводил, но хотелось произвести впечатление на одногруппниц. На неё, у которой каштановые волосы и нежный взгляд. До начала учебного года оставалось недели две.

На следующий день отправились на рынок. В торговом павильоне пахло солёной рыбой, в картонных коробках копошились темно-зелёные с желтинкой крабы, привезённые с Чёрного моря, слышалась речь торговцев, покупателей, пёстрый, словно ласкутное одеяло, говор висел в солёном воздухе. Дядя купил домашнего вина, толстый кусок жирной сёмги, помидоров, красного болгарского перца, а Игорь Алексеич – три бутылки водки. Его невозможно было напоить. Водка лилась, словно в пропасть. Но несмотря на грузность, ел Игорь Алексеич мало для такого-то размера брюха. Как-то вечером сидели мы на песчаном берегу и задумчиво смотрели на сине-зелёные волны, слушая таинственный шёпот прибоя, чувствуя его лёгкое дыхание. Море было вокруг, и море было в нас... Казалось, что уходящий день уносил с собой что-то важное для нас. Наверное, частицу жизни. Завтра все мы станем на один день ближе к неизведанной черте. Время неумолимо. Против Груздинского – этого языческого бога, если взглянуть со стороны, я казался тростинкой. После долгого молчания Игорь Алексеич вдруг, глядя на море и завораживающий багровый закат, предрекающий на завтра ветер, обречённо сказал:

– Перемелет нас эта громадина, не останется ничего.

Заходящее солнце, море, печальный взгляд Игоря Алексеича... С застарелой грустью он рассказал про свою болезнь. Про то, что зимой ляжет в больницу, что ему «попутно вырежут кусок жира килограммов на десять...» И может быть,

впервые в жизни я всерьёз задумался, а есть ли на земле счастливые люди? У каждого что-то да не так. Игорь Алексеич тяжело поднялся и неторопливо зашагал у самой воды к душевой. Казалось, что за ним следует что-то неотступное, роковое. В походке большого человека угадывалось, что ненасытная болезнь разъедает его изнутри. Волны равнодушно слизали глубокие следы...

...На рынке у красивой женщины в бирюзовом жакете я поинтересовался, где в городе можно найти хороший магазин одежды.

– А вам что нужно?

– Кожаная куртка.

– Тогда поезжайте на К... бульвар, там есть дорогой магазин кожи и меха, я там одеваюсь.

Бутик действительно оказался дорогим. Здесь пахло кожей. Вещи из Италии, Турции. И кожаная куртка. Вожаденный чёрный с синеватым отливом кожан со стального цвета молнией. Примерил – как раз. На мгновение увидел себя на главной сцене рок-фестиваля! Но стоил кожан пятнадцать тысяч. У меня с собой не было таких денег. Родители мои, люди среднего достатка, приучили беречь копейку. Дядя с безгловым выражением посмотрел на ценник, оценивающе взглянул на куртку, въедливо проверил замки, потрогал подкладку и сказал:

– Пойдём.

...На следующий день дядя сорвался. Называл он это –

«кубрычить». На выпивку его подбил ещё один знакомый – бывший участковый, начальник охраны фермерского хозяйства, который приехал в Бердянск своим ходом. Он уже много лет неизменно отдыхал здесь. У этого человека была странная, с моей точки зрения, фамилия – Тютюн... Помню, шли мы с дядей в магазин.

– А вон наш участковый – Тютюн, – кивнул дядя на промелькнувшую за вишней милицейскую фуражку.

– ... да у нас тоже участковых не все уважают... – после короткого молчания сказал я.

Тютюн угостил дядю вином местного производства. И началось. Дядя жёг! Перепил парней, набившихся в знакомые, лапал девок – мимолётных попутчиц, травил похабные анекдоты, угощал и, смеясь, совал деньги в лифчик грудастой девахе. Лысина дяди побагровела от солнца и водки. Михаил Иванович неистово плескался в море, совершал стремительные рывки, как морской окунь, преследующий мелюзгу. Окосевшие, парни сидели в бессилии на берегу. Наверное, им было тяжело. Глядел я со стороны и чувствовал себя отверженным, мысленно порицал дядю. Когда Михаил Иванович выходил на берег, то вдруг качнулся и чуть было не упал. Дядю рвало. Я отвёл его в уборную.

– Давай скорую вызову?

– Не надо, не вызывай.

Михаил Иванович стоял в душевой под струями прохладной воды, приходя в себя.

– Вот так, племяш, повезёшь ты дядю родного домой в гробу, – сказал он трагическим тоном.

Вспомнив, каким героем он был полчаса назад, а теперь вдруг решил лечь в гроб, я не сдержал насмешливой улыбки.

– Что-о? – обиделся дядя. – Я сказал, в гробу!

– В гробу, в гробу... Мой дядя так любил кубрячить, что не на шутку занемог!

– Да ну тебя...

– Что «ну тебя»? Позвал с собой на море, а сам кубрячишь с кем попало.

– Я тебя на море привёз?

– Привёз.

– Я слово сдержал?

– Сдержал и что?

– Какие ко мне вопросы?

Я пошёл прочь. Лицо пылало. В мыслях заевшей пластинкой вращался навязчивый, мною придуманный напев:

«Я так хочу своего дядю накорячить, чтобы он не мог кубрячить!»

Тот унылый вечер я провёл, не выходя из комнаты, вознамерившись завтра уехать на поезде. Под окнами с ящиком инструментов несколько раз прошёл угрюмый, желчный муж хозяйки. Стучал молотком. Почему-то захотелось поговорить с этим стариком. Быть может, не такой уж он и вредный? Ночью не спалось. Окно глядело на соседский уча-

сток, где в кирпичной беседке, увитой виноградом, устроили попойку постояльцы. Разошлись за полночь. Я слышал, как пришли дядя и Игорь Алексеич, голоса в комнате за стеной стихли. Скрипнула дверь, послышался шорох пакета. В лунном свете обозначилась знакомая фигура. Михаил Иванович словно впивал в себя лунный свет. Я сделал вид, что сплю, дядя неслышно подошёл, присел на край кровати. Утомлённо, упершись локтями в колени, он глядел перед собой и вздыхал, а после, шелестя, поставил что-то у кровати и лёг на свой диван. Кричал за окном сверчок, вдалеке звучала музыка, чтобы уснуть, я представлял, как борт одинокого ржавого судна, нашедшего последний приют на мелководье, трогает волны. Первая волна, вторая... Когда солнечные лучи ласково скользнули по лицу, я проснулся и увидел стоявший возле кровати фирменный пакет из магазина.

Перед отъездом сходил напоследок к морю, было немного грустно, но я чувствовал, как в сердце вызревает радость, которая сдула печаль с моей души, словно ветер пух с одуванчика. Хотелось поскорее домой. Голос моря, которое будет жить спустя тысячи лет, слышался позади меня. Что море хотело сказать? Через несколько часов Бердянск о нас позабыл. В комнате, где ещё пахло дядиным одеколоном, хозяйка в ожидании очередных постояльцев сменила бельё, поставила в вазу свежие цветы, отчаянно яркие в своей прощальной красоте. Её желчный, нелюдимый муж стучал молотком в летней кухне. В прошлом остался многолюдный городской

пляж с бесчисленными аттракционами, коса, отель «Монсеньор», одинокое ржавое судно, бесценная часть жизни...

С тех пор прошло немало лет, но та самая кожаная куртка и сегодня мне впору. Потёрлась, правда, местами. Только я её уже не надеваю. Так, гляну – чернеет в шкафу, и всё. Нестерпимо больно от того, что куртка пережила близких мне людей. Видимо, так и должно было быть. Видимо, это приговор неумолимого времени. Разве мог я подумать тогда, что по истечении лет буду тосковать, тщетно взывая:

– Дорогой дядя, покойная бабушка и сошедший в могилу Игорь Алексеич, где наше далёкое лето?

Как жаль, что ничего не вернуть.

Убоп Иваныч

Развелись они, когда уже внуки в школу пошли. Причина самая заурядная – пьянство. Устин Иваныч крепко прикладывался к бутылке, жена и не выдержала. Лопнуло терпение. Трёхкомнатную квартиру продали, решив разъехаться. Навсегда.

– Мне твои вонючие деньги не нужны, – кричал Устин Иваныч. – Подавись ты ими. Мне хоть куда, лишь бы тебя не видеть. Испортила ты мне всю жизнь!

– Это ты мне испортил, сволочь!

– Да подавись ты своими деньгами, я их и не возьму от тебя! Не нужны! Обойдусь!

На этот их последний скандал, на резкие жесты равнодушно глядели настенные часы с изумрудным циферблатом.

Не нужны так не нужны – по пьяному делу Устин Иваныч согласился на сумму, на которую ему купили комнату в общежитии на первом этаже. Секция – убитая, населённая пауками и слизнями, унитаз течёт, канализационный смрад и полумрак. Но комната – ухоженная, светлая. С чистенькими обоями, массивной железной дверью и пластиковым окном. Доживала здесь свои тихие годы старушка, а жизнь города стремилась куда-то уже без неё, как и без многих других людей...

Но Устин Иваныч не собирался жить на манер долгоно-

гих пауков, прячущихся по углам, и жирных слизней, решив изменить свою жизнь. Клин вошёл в сознание, что даже пить бросил. Из-за жгучей обиды и ревности. Как-то вечером, возвращаясь из магазина с чекушкой во внутреннем кармане облезлой дерматиновой куртки, случайно узрел он свою бывшую, шедшую под ручку с благообразным, седым, слегка сутулым мужичком. От вида положительных довольных людей его переклинило. Сам не свой вернулся Устин Иваныч домой, мерилшагами расстояние от окна до кровати и рассуждал вслух:

– Вот же, зараза, и двух месяцев не прошло, а она примака в новую квартирку привела. В которую, между прочим, и мои денежки вложены. А я, дурак, так легко сдался. Надо было оттяпать денег на однокомнатную! Пошёл на принцип, дебил... Ох и дебил же! Ну теперь всё. Что ж делать, а?

Словно полная незакатная луна, взошло в его душе мстительное чувство и подчинило всё существо. Устин Иваныч пуще прежнего возненавидел жену, за то, что легко и быстро устроила личное счастье, восторжествовав над ним, и почему-то обозлился на весь город. И уже не такой занозой в сознании торчала ожиревшая фигура коменданта общежития Любви Семёновны, с которой он часто ругался, а недавно и вовсе с тупым ножом погнался за ней по мрачному, с выкрашенными в тёмно-зелёный цвет стенами, коридору. Так, попугать погнался, потому что достала... Помогло. Любовь Семёновна обладала вздорным характером. Комендантство-

вала здесь с середины девяностых и в собственности имела две комнаты, — сдавала квартирантам. На толстых пальцах с длинными красными ногтями красовались золотые кольца. Года три назад ради выгоды снюхалась с группой мошенников. С помощью всезнающей комендантши они узнавали об одиноких, желательно, пьющих жильцах. Подселялись, спавали и «отжимали» жилплощадь.

Высокий, худой, с жилистыми, поросшими чёрным волосом руками, Устин Иванныч сделался ещё худее. По натуре хитроумный, с богатой фантазией, с умением говорить много, витиевато, он, возможно, мог бы стать актёром или писателем, но много лет тому назад умер в нём то ли актёр, то ли писатель. Работал на заводе токарем, подворовывая и загоняя за магарыч плужки, наборные гантели и прочие изделия, пока не уволили за пьянство. На воровстве не поймали. Из родни с ним общался только зять, недавно оставивший службу в полиции и решивший стать предпринимателем. Зять подкинул Устин Иваннычу форменные брюки с красной полосой сбоку и синюю рубашку без погон. И почему-то будущее своё увидел Устин Иванныч в форменных брюках и рубашке... Взял он эту одежду, ещё кое-какие вещички подсобрал, сложил в старый чёрный дипломат и спортивную сумку, запер комнату и отправился в деревню к матери-старушке, которую не навещал лет десять, чтобы вне ненавистного города начать новую жизнь...

В понедельник Устин Иванныч подъехал на чёрном вне-

дорожнике к родной усадьбе. Знакомый подвёз, которому в прошлом «толкал» заводские изделия. По соседству на лавочке сидели мужики, разговаривали. Удивились, ведь не часто на улице появляются такие машины. Кто ж это приехал? Одетый в полицейскую форму хитроумный Устин Иваныч мгновенно сориентировался. Трезвый, с начальственным видом неторопливо вышел из внедорожника, с заднего сидения неспешно забрал дипломат, спортивную сумку, крикнув знакомому:

– Всех благ! Если будут кошмарить – обращайся.

Знакомый в недоумении что-то переспросил, нажав на тормоза, когда разворачивался, а Устин Иваныч в ответ дружелюбно улыбнулся и помахал жилистой рукой. С достоинством подошёл к мужикам, аккуратно пристроил на лавочке дипломат, сумку поставил на землю, достал сигаретку, закурил. Разговорились. Устин Иваныч, отвечая на расспросы про полицейскую форму и чёрный внедорожник, нагородил, что служил в УБОП, но «связи остались и по сей день».

– А это меня подбросил коммерс Арютюнян, – «насыпал» Устин Иваныч. – Два года назад его вымогатели кошмарили, так я их всех с группой захвата и накрыл. До сих пор благодарит, угождает.

– А в каком же ты звании? – допытывались подозрительные мужики.

Устин Иваныч, вошедший в раж, хотел сказать, что вышел в отставку полковником, но инстинктивно уловив недоверие,

смолол, что носил майорские погоны. Мужики чуяли подвох, а Устин Иваныч неумолимо сыпал, как из мешка, факты из небывалой службы, придуманные по пути, щедро сдабривая рассказ аббревиатурой УБОП. Мужики быстро по-деревенски дали ему смачное прозвище Убоп. Так и зажил Устин Иваныч на новый лад Убопом. Но некоторые односельчане поверили, что боролся он с организованной преступностью. Пенсионер дядя Степан, ездивший в городскую поликлинику полгода назад с геморроем, вспомнил, как неожиданно повстречался с Устином Иванычем возле аптеки №11. Зять попросил патрульных подвезти Устина Иваныча. Дядя Степан сообщил мужикам, как Устин Иваныч выходил из полицейской машины, тепло прощался с сотрудниками, желая им всех благ.

– А что ж он у хворме был али так? – спрашивали дядю Степана.

– Не помню, кажись, у штатском.

– Ну, можить, и служил. Кто его знать.

Устин Иваныч неумолимо, упорно работал на свой образ отставного офицера полиции. В магазине внимательно изучил информацию об участковой – молоденькой девушке в звании младшего лейтенанта – «срисовал» её внешность и взял на заметку. Проживала она в райцентре, так что лжемайор не боялся разоблачения. Вскоре информация пригодилась. Лжемайор пошёл за хлебом. Возле магазина стояли мужики, разговаривали. Завидев издалека худую высо-

кую фигуру в форме, оживились. Через дорогу от магазина, у здания, в котором располагался ФАП и отделение Почты России, остановились красные «Жигули», вышла участковая. Устин Иваныч стрельнул острыми карими глазками в сторону мужиков. Мгновенно созрел план – как повернуть ситуацию в свою пользу. Воображение хитроумного Устин Иваныча взмахнуло лёгким крылом и воспарило над деревней – над изогнутыми улочками, широкими огородами, ржавыми тракторами фермерского хозяйства. С улыбкой подходя к участковой, Устин Иваныч почтительно поздоровался и сказал:

– И как вам служится, чудное создание?

В глазах младшего лейтенанта промелькнуло изумление и недоумение. С ветки берёзы за странным разговором наблюдал вертлявый любопытный воробей.

– Вы так не удивляйтесь, Татьяна Владимировна, – продолжал ласковый лжемайор. – Вы очень похожи на мою дочь. Она тоже в юридическом учится. Дочка, не жалеете, что взвалили на свои хрупкие плечи тяжесть защиты населения?

Устин Иваныч подкреплял слова энергичными размашистыми жестами, от чего со стороны казалось, будто он раздаёт указания. Участковая что-то отвечала. Поговорили. Младший лейтенант вошла в двери, за которыми располагалось отделение почты, а довольный лжемайор гоголем направился к магазину. Мужики ничего не успели спросить, как в ответ на их молчаливое удивление Устин Иваныч стреми-

тельно погнал коней:

– И кого только в органы берут, – негодовал он, доставая сигаретку с фильтром. – Детвору. Провода в Щегловке снимали, слышали?

– Было дело на днях, а что?

– Проходу нету: участковая давай спрашивать – товарищ майор, не поделитесь своими методами? – заливался соловьём Устин Иваныч, попыхивая сигареткой. – Да мне не жалко! Я таких волчар в УБОП щёлкал! Посоветовал девчухе с какого фланга наступать, как с уликами работать. Мы с ней договорились потом, когда хмырей этих повяжут, разыграть доброго и злого полицейского на допросе. Знаете такую методу?

...Старушка мать была рада визиту сына. Одного не могла понять – почему он ходит в полицейской форме и не выпивает?

– Ты, мать, если будут спрашивать, всем отвечай, что я работал на большой работе, поняла? – научал лжемайор.

– На какой работы?

– Не важно, всем говори, что на высокой, секретной!

Старушка подслеповато моргала и поправляла языком вставные челюсти. В избе пахло жареной картошкой и нафталином: утром мать лжемайора перебирала в сундуке вещи, приготовленные на смерть, – полотно, крестик, платки. Тикали старые настенные часы марки «Янтарь» с золотистыми стрелками.

Однако не только полицейскую форму использовал в своих целях Устин Иваныч, но и форма воздействовала на него – хотелось быть справедливым. Ему нравилось сидеть на лавочке под жёлтым облаком рудбекии и разговаривать с соседским мальчишкой-третьеклассником.

– А кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Мишук? – улыбаясь спрашивал лжемайор.

– Не знаю, – отвечал мальчик, щелкая игрушечным пистолетом. – Шофёром.

– Шофёром? Это всё глупости. Надо, чтобы уважали, понял? Ты лучше поступай в школу милиции. Потом вспомнишь дедушку Устин Иваныча с благодарностью.

И, взглянув на игрушечный пистолет, Устин Иваныч сморозил:

– У меня был ПМ. Знаешь, что это?

– Не знаю.

– Пистолет Макарова.

– Дядя Санёк сказал, что все милиционеры – дураки.

– А что это за дядя Санёк такой, а? – рассердился Устин Иваныч. Он знал, о ком идёт речь. Мишук жил с бабкой и матерью, к которой нахаживал местный алкоголик Санёк. – Ты этому дяде паршивому передай, что я ему за такие слова уши пообрываю! У тебя на шее никак ссадина? Кто ударил?

Мишук потупился, глядел себе под ноги и ковырял носком тапка сухую песчаную землю. Лжемайор слышал, как накануне Мишука во дворе нещадно пороли – крик, плач,

хлёсткие удары ремня.

– А ну-ка пойдём к твоим, пойдём, Мишук, не бойся.

Устин Иванов взял мальчика за ручку. Когда лжемайор вошёл во двор, Валюшка – бабка Мишука – стирала бельё. На визитёра бросилась, звякая цепью, небольшая кудластая собака.

– Пошла-а-а, – властно закричал Устин Иванов. – Валюшка, а Валюшка! Послушай, что я тебе скажу.

По натуре недалёкая бабка Мишука стояла, тараща глаза с красными прожилками, а по рукам на зелёную траву сбегала пена от стирального порошка.

– А где дочь твоя? – любопытствовал грозный лжемайор.

– На работи.

– Ну хорошо, что не на пьянках. В общем так, если будете бить Мишука, я вас посажу, будете у меня в колонии чалиться, поняла?

– А мы его и не бьём николи...

– Ну, смотрите мне. Смотрите и бойтесь.

Вскоре вялотекущая жизнь улицы всколыхнулась. Тёплым пасмурным днём сидел лжемайор во дворе на лавочке и задумчиво покуривал сигареты с фильтром. Вдруг послышались крики и звуки хлёстких оплеух. Устин Иванов, как пуля из ПМ, вылетел по форме за ворота и увидел, как обрюзгший Санёк посреди дороги «воспитывает» Мишука.

– Эй ты, ероплан, ты что творишь?! – закричал Устин Ива-

ныч.

– Пасть закрой, не твоё дело! – огрызнулся Санёк, таская Мишука за шиворот. – А то щас и тебе врежу!

– Что-о-о? Да я тебя...

Свирепый Устин Иваныч драться умел и со всей дури зарядил «воспитателю» сорок третьим растоптанным в пах. Мишук припустил домой.

– Школа эмвэдэ-э-э! – выкрикнул лжемайор и сверху прямым в голову отправил скрючившегося Санька в колющий бурьян, что зовётся татаринном.

– Смотри, если повторится, посажу за педофилию, – пригрозил Устин Иваныч и, с удовлетворением глядя на крепкий, поднывающий кулак, направился домой.

Вскоре загорелся Устин Иваныч привести молодайку. Присмотрел подходящую бабёнку. Жила в конце улицы одинокая Мария Васильевна. Встречались несколько раз в магазине. Если, например, Мария Васильевна видела, как соседка-старушка несла на выставленной вперёд палке выбросить через дорогу в ров мёртво повисшего ужа с разможжённой головой, то её охватывало горькое сожаление. Горько становилось женщине, когда, к примеру, тонконогий Яша Кукушкин, прикупивший на инкубаторе цыплят, торопился в рощицу со сверкающим топориком, – свалить деревцо, на котором ворона свила гнездо. «Ненашецкой породы баба», – говорили о ней. И очевидно по этой причине Марии Васильевне подбрасывали то под ворота, то в палисадник, густо

населённый розовыми, жёлтыми и красными цветами, котят и щенков.

«Что ж с вами делать? Хоть зверинец открывай, – печально качала головой женщина, глядя на беспомощные, крикливые комки шерсти, ползающие среди цветов. – Ну, слава богу хоть не утопили...»

На концерте ко Дню России в сельском ДК сидели со лжемайором через кресло. Вострыми карими глазками Устин Иваныч поглядывал на тихую, кроткую соседку. Другие бабы смеялись, обсуждали местных поющих и танцующих артистов, а Мария Васильевна ласы не точила, слушала песни – вся внимание. Эта кротость и подкупила пылкого лжемайора.

Надумал свататься. Несколько лет назад «невеста» вышла на пенсию и вернулась из города в деревню, поселившись в избе своей покойной родственницы, перешедшей по наследству. Мария Васильевна всем рассказывала, что оставила квартиру сыну, который работает директором фабрики. На самом деле к директорству сын её имел самое отдалённое отношение – только прозвище у него было Директор. Сидел за кражу.

«Сын директор, сама бабёнка воспитанная, ещё побрезгует, – прикидывал Устин Иваныч, вынашивая план сватовства. Удалившись в грёзы, он на миг призабыл, что назначил себя майором. – Ладно, надо попытаться. Что ж – та курва, значит, хахаля нашла, а чем я хуже? Они у меня пасодопль

спляшут...».

Нельзя сказать, что присмотрел Устин Иваныч подходящую женщину только лишь, чтобы бывшей насолить. После долгого одиночества захотелось незатейливого счастья, тихого уюта, аромата свежего борща с косточкой. Летним вечером лжемайор по форме пошёл свататься. И, наверное, от волнения в голове засела липкая мысль:

«Сватовство майора – это фильм такой или книга?»

Коров гнали с пастбища. Животные мычали, отгоняли хвостами оводьё, тёрлись боками и шеями о заборы. Устин Иваныч старательно обходил коровьи лепёшки, боясь замарать чёрные туфли, и размышлял:

«Вот так по жизни я петляю...»

Пили чай, мирно беседовали. Но Мария Васильевна очень уж осторожно вела разговор. Тёплая полоса от лучей заходящего солнца медленно двигалась по крашеному полу к двери. Устин Иваныч обратил внимание на порядок в избе – запах вымытых полов, сложенные пирамидкой подушки на застеленных кроватях, иконы. Внутренне одобрил. Прощупывал почву, как сапёр. Сомневался, но взяв волю в кулак, открыл шлюзы. Соловьём запел про совместную жизнь, грядущие перспективы рисовал размашисто, как уверенный в своём таланте художник, бросал краски на холст.

Отказала.

– Не в том мы с вами возрасте, чтобы сходитьсь, уважаемый Устин Иваныч. Люди не поймут, – потупившись, повела

речь «невеста».

— Да что нам люди! — возвысил голос лжемайор и сжав костистый кулак, свидетельствовавший о былой силе, продолжил. — Вот они у меня где люди эти! Все-е здесь. Я отставной майор! Что вы в самом деле! Будете жить за мной, как за стеной.

Почему-то он стал называть женщину на «вы». Мария Васильевна вздрогнула. Пожалуй, слово «майор» её испугало. Устин Иваныч убеждал, наседал, взглядывая на образ Георгия Победоносца в золотистом окладе, словно ища поддержки, но разбился глек...

Когда он, понутив голову, шёл по улице домой, Мария Васильевна, глядела вслед из-за кружевной занавески и утирала катившиеся слёзы синим платком:

«Был бы простенький мужичок, ещё бы ничего, может и жили бы, а то как я с милиционером сойду? Сын уголовник, а я за милиционера выскочу, стыд какой! Господи прости...»

Стало прохладнее, на небе обозначился молодой остроугой месяц. Но домой Устин Иваныч не пошёл. Почему-то направился через луг, где с наступлением вечера сильнее запахли травы, к реке, на крутом берегу которой теснились по большей части заброшенные избы. Где накрест окна заколочены, где стёкла давно выбиты. Дворы разгорожены, поросли застарелой злой крапивой. Всё глядит угрюмо и в то же время жалостливо, и кажется, войди в любую избу, запахнет

пылью и прахом... Складывалось впечатление, что в заброшенных избах лежат и затаившись чего-то ждут тени, словно призраки чье-то ушедшей жизни. И несообразны это запустение и молчаливая красота вечной природы. Устин Иваныч взойшёл на деревянный мосток, остановился на середине, передумав идти на другую сторону. Глядел на воду. У дубовых опор течение образовывало водовороты, серебристые рыбки с узкими спинами, как по команде, устремились в разные стороны, когда на воду легла длинная тень. В шепчущихся камышах протяжно загудела выпь. Устин Иваныч отметил, что река, по сравнению с тем, какой была во времена его юности, обмелела, поросла камышом и кувшинками, белые цветки которых закрылись, проводив солнце. Тишина, чистый воздух располагали к размышлениям о жизни, о том, что, когда здесь ещё не поселились люди, река всё так же несла свои воды, и солнце каждый вечер закатывалось за меловые горы, от чего вершины становились нежно-розовыми, словно зефир. Устин Иваныч постоял ещё немного и, закутив, пошёл домой – смотреть с матерью телевизор, а завтра будет новый день, и вновь взойдёт солнце.

А я – мужик!

Глава одного посёлка городского типа Вадим Сураев был человеком целеустремлённым, но обидчивым, надменным и хвастливым. Как-то после совещания в области Вадим стоял на улице возле здания казённого вида, перед которым росли голубые ели, и разговаривал с чиновником из другого района. В разговоре он старался держать себя выше, чем собеседник, которого ждал подобострастный водитель Денис, любивший из желания возвыситься до своего начальства как бы случайно поддержать беседу. Едва он, походя вокруг да около, словно нащупывая с чего бы начать, вклинился в разговор, как его руководитель раздражённо его осадил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.